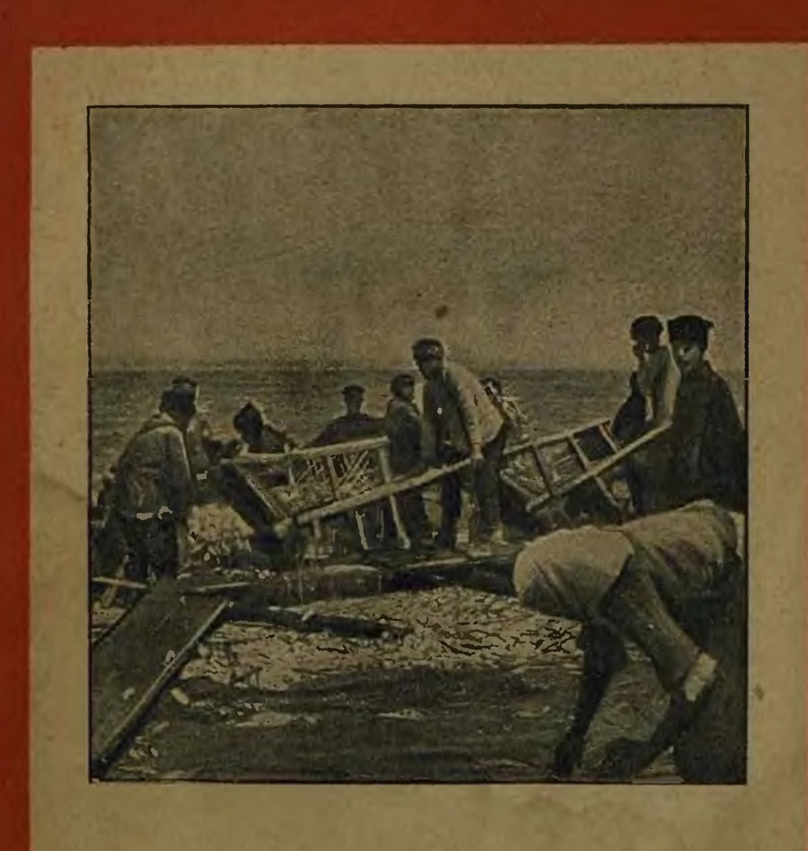
АНДРЕЙ КЛЫКОВ



ПО БЕРЕГАМ КАСПИЯ

•РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ • 1930•

«ОТ НАШЕГО КРАЯ—В ШИРОКИЙ МИР» № 1
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. Б. А. КЕЛЛЕРА

АНДРЕЙ КЛЫКОВ

ПО БЕРЕГАМ КАСПИЯ

ОТ АПШЕРОНА ДО ТЕРЕКА

С 25 ФОТОГРАФИЯМИ И КАРТОЙ

РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ
МОСКВА — 1930

Отпечатано
в 21 тип. „Мосполиграф".
Москва Ц., Варварка,
Елецкий пер., 7.
Главлит № А 56283.
Тираж 15.000.

СтАТ A_5 148 × 210 мм. $4^1/_2$ п. л Р. П. № 0304 – VI

Море шумит. Сине-зеленые волны наваливаются на песок. Одна за другой. Большие, холодные однообразно идут на приступ. Белесый туман поднялся к небу, где темнеют тучи. Ветер с силой толкает в грудь. Холодно, и не верится, что апрель, что стоишь на дагестанском берегу, где надо быть теплу и яркому солнцу.

Дождя нет, но сырость обволакивает спину, руки, лицо.

— Весна нынче запоздалая, — сочувственно об'ясняет мой новый знакомый, монтер Ракаев.

— Зима была холодная и снежная. Бывает так. Рассказывают, что в 1897 году такая же зима была. Откапывали друг друга в домах в Дербенте и здесь на рыбных промыслах тоже.

Ракаев из Баку, работает «на этом берегу» давно, а сюда приехал устанавливать двигатели на электрических станциях, обслуживающих рыбные промыслы. Ракаеву лет под пятьдесят. Он с тринадцати лет был «брошен на завод». Держится просто, но с достоинством, как бы чувствуя, что он первый слесарь, который попал на промысел где до него машиной и не пахло, а все делалось горбом и руками рабочих.

Идем по берегу. Справа ревет море. Впереди уходит на север песчаная черта берега.

В два параллельных ряда белеют постройки.

Это рыболовный лабаз, в котором помещаются чаны или лари, вкопанные почти доверху в песок, за ними контора и дома для рабочих.

Налево песчаный вал—бывший берег отступившего Каспия. А за валом ровная степь, которую сжали дагестанские горы, вершинами ушедшие сейчас в белый туман.

Берег голый. Птице не на что сесть, да их и не видно. Только изредка слышится за туманом крик чайки с моря.

К нам подходит коренастый мужчина в высокой шапке, сапогах и стеганом пиджаке. Это Михал Михалыч, заведующий группой рыбных промыслов.

— Ловите сегодня?—спрашиваю я.

Какой тут, — накат и течение! Пробовали заметать невод, так чуть на камни не нанесло.

«Накатом» здесь называют прибой от сильного ветра, который производит течение воды вдоль берега с севера на юг или обратно.

— А давно дует?

— Третьи сутки и все норд и норд[1]. Пора бы и на ост зайти,—с досадой отвечает Михал Михалыч.

— Эх, пропадет путина[2]! В прошлом году в это время я уже сорок чанов сельди посолил, а нынче и полчана нет.

Он поворачивается спиной к ветру, поднимает плечи и, сёжившись, старается закурить папиросу.

Его смуглое, обветренное лицо напряжено. Три-четыре спички, вспыхнув, потухают, но, наконец, вылетает белый дымок.

— Чего тут мерзнуть? Пойдемте ко мне, согреемся чайком. Делать здесь нечего, а я как встал в два часа, так и домой еще не заходил.

Идем к нему.

— В нашем деле самая лучшая тоня[3] на рассвете, когда сельдь подходит к берегу. Да вот еще на вечерней заре, а днем ее мало.

— Ночью совсем не тянете?

— Тянем иногда, но ночью она отходит вглубь.

---

[1] Норд — северный, ост — восточный.

[2] Время лова, период; весенняя путина, осенняя путина.

[3] Закидывание и подтягивание невода.

— А вот на бакинских и ночью ловят,—вставляет Ракаев.

— Это как бывает,—почему-то недовольным голосом отвечает Михал Михалыч,—разные сельди, и год на год не приходится, какая путина.

— Путина — это как бы период, — не то спрашивая, не то об'ясняя мне, замечает Ракаев.

Подходим к дому; Ракаев останавливается; видимо, он не считает для себя удобным пить чай в рабочее время и, обращаясь к заведующему, спрашивает:

— Михал Михалыч, сегодня в Дербент будете лошадь посылать?

— А тебе зачем?

Насчет поршня, ведь задрали цилиндр. Я ребятам хоть не мое это дело, говорил: надо быстро расточку сделать. А здесь ни инструмента у них, ничего.

— Заходите,—пропускает меня Михал Михалыч,—пускай посылают, но дороже трехсот за расточку не заплачу.

Мы входим. Обстановка походная, хотя заведующий живет на промысле круглый год и, кажется, служит здесь несколько лет. Табуретка, два стула, деревянный стол, вроде кухонного, покрытый клеенкой, на стене барометр и в углу покривившийся фикус.

На вешалке пиджак, бумазейная рубаха и кожан.

В открытую дверь соседней комнаты виднеется громадная кровать с горой подушек в ситцевых наволочках. Кто-то, очевидно хозяйка, ворочается и вздыхает.

— Пожалуйте сюда.—Он смахивает с клеенки крошки,—переставляет большой бинокль со стола на окно и пододвигает табуретку. Снимаю шапку, пальто и сажусь около окна, напротив хозяина.

— Чаю-то даешь?

— Даю, даю,—послышался голос.

— Вы первый раз здесь?—обратился ко мне хозяин.

— Первый.

— Если б не сельдь, на этом берегу делать нечего. Песок, летом жара, а зимой холод.

— А давно стали ловить рыбу?

— Да ведь как сказать,—он сдвинул на затылок папаху и посмотрел в окно,—рыба тут спокон века водилась, только лов был одна ненормальность. Ловили горцы для себя сетями. Некуда ее было девать, к нам в Россию им не рука была отправлять — воевали тогда они с нами, — это я говорю про шестидесятые годы. Да и ватаг [1] тогда не было, ведь первые промысла здесь появились в 1885 году. Отец покойник, рассказывал мне, как построились промысла в Петровском и Дербенте. Сельдь тогда, можно сказать, губили; солили только крупную,—мелкую, пузанка по-здешнему, продавали по копейке за сотню, а остальную зарывали!

Полная пожилая женщина внесла на подносе два стакана крепкого чая, вазочку с мелко наколотыми кусочками сахара, хлеб и яйца.

Молча поставив поднос, она ушла.

— Кушайте,—он пододвинул стакан, сильно ударил яйцом по столу и, очищая его, продолжал:

— Я тогда мальчишкой на этом самом промысле жил с отцом. Отец здесь материальным [2] служил. Жили мы тогда в землянках, как кроты, невода были маленькие, сажен по двести...

— А сейчас какие?—спросил я.

— Какая тоня; есть и по восемьсот и тысячу двести, ну, а меньше шестисот нет расчету строить.

Он взглянул в окно.

— Смотрите, снег, а ведь сегодня 11 апреля.

Я оглянулся: за окном падали крупные белые хлопья.

— Эх-ма!—он с досадой плюнул и на минуту замолчал.

---

[1] Рыбопромысловое заведение.

[2] Заведующий складом припасов, материалов и т. п.

— Да,—начал он снова,—льду тогда на промыслах не было, солили теплым[1] посолом, товар торопились убирать[2] поскерее и везли его морем в Астрахань. Железная дорога прошла здесь на моей памяти, лет тридцать назад, не больше.

Ну-те-сь! Стали наезжать астраханские промышленники, рыбаки появились на Тереке, на Тюленьем острове. Рабочий народ стал сплывать, все больше с Волги, из Саратова—молодцы ребята. Может, не интересно? обратился он ко мне.

— Что вы, я рад послушать эту историю.

— Историю,—повторил он,—она была после, как «зеленые» разгромили в двадцатом году все промысла. Потом советская власть стала все восстанавливать. А тогда какая была история? Ну-те-сь, прошла дорога, и покатилась сельдь в Ростов и Украину. Стали промысла расти и крупнеть. К двадцатому году в одном южном районе было до двухсот промыслов, сельдь тогда ловили по пяти миллионов пудов, посчитать на девять миллионов рубликов. Вот оно как разворачивалось. Только серо было! Теперь у нас посметреть — бетонные лари, каменные



Под окном стоял горец в тулупе и белой папахе.

[1] Без применения льда.
[2] Упаковывать в бочата.

казармы для рабочих, под'ездная дорога, телефоны, электричество, — он усмехнулся и добавил, — радиум поставили и эту самую ме-ха-цию заводим.

В голосе зазвучала новая нота, и я подумал, что он не случайно исковеркал слово «механизация».

В окно постучали. Я оглянулся. Прямо под окном стоял рабочий-горец в тулупе и белой папахе.

— Дербент идем, наказывать будешь?—проговорил он, ища глазами заведующего.

— Нет, поезжай,—ответил он, подходя к окну,—там дадут, что надо, я по телефону передавал. Вы не хотите с'ездить? Полюбопытствуйте город и обратно, пока здесь нечего делать. Поезжайте!

— Ладно.

Быстро одевшись, я вышел из дома.

У крыльца стояла линейка, запряженная парой. Едва мы успели сесть, как лошади тронули и резвой рысью побежали по гладкой, без колеи, дороге.

Узкой лентой тянется плоская низменность, лежащая между кавказским горным хребтом и Каспием. Горы Дагестана кое-где наступают. Еще немного — и они подойдут совсем к морю. Но море откатывается на восток и оставляет после себя песок и гальку.

Уже миновали неуютный плоский берег и пересекаем гряду песчаных дюн, вдоль которых проложена степная дорога.

С запада неприступные горы, с востока бурный Каспий. Лишь с севера на юг (и обратно) природа оставила путь сообщения между Европой и Азией.

Отроги Табасаранских гор сдавили узкую полосу степи и образовали щель под названием «Дербентский проход».

Сейчас облака спустились низко и закрывают от меня контур скал.

Холодный северный ветер бьет в лицо.

Я смотрю на тулуп горца и думаю: «должно быть, ему тепло».

В моем легком драповом пальто я ему завидую.

Туман сползает. Сквозь его пелену доносится шум прибоя. Через час езды мы сворачиваем с дороги и едем обратно к морю. Зачем? Впереди чернеют берега реки. Снова пересекаем дюны, лошади везут без дороги, без колеи, по песчаному берегу вдоль мелкой речки. На том берегу видны промысловые постройки.

Видимо, надо заехать на соседний промысел, — соображаю я.

Едем на восток, где устье речонки.

— Почему ты не переезжаешь?—спрашиваю я.—Ведь тут мелко?

— Мелко,—отвечает возница и едет дальше.

Лошади медленно передвигают ноги. Прикидываю в уме ширину речки — метров семь-восемь, не больше, глубина — курица в брод перейдет. А мы едем и, видимо, об'езжаем что-то или ищем «броду».

Следы колес вблизи глубокие, резкие, а дальше все мельче и совсем заплыли от ила. Скучно и холодно. Вот и море! Лошади шагом поворачивают налево, и мы по подводной дельте переезжаем речку.

Горец, сидевший молчаливо и спокойно, вдруг зачмокал губами, замахал кнутом и погнал лошадей. Колеса то скрывались под слоем песка, нанесенного морем, то снова показывались наружу. Моментами казалось, что мы проваливаемся. Кое-как лошади выскочили на другой берег. Их ноги выше колен и колеса линейки были покрыты вязким, серым илом.

— Тот весна этот места один алоша (лошадь) и арба кончал [1],—обернувшись ко мне, сообщил горец.—Тихо езда нельзя — тянет, — и он ткнул кнутом в землю.

[1] Увязли, пропали.

— Засасывает,—подтвердил я.

Горец закивал головой.

Лошади стояли, опустив головы, и только бока у них то раздувались, то опадали.

По спине и крупу тонкими струйками катился пот.

— О... ош!—закричал возница. Мы под'езжали к промыслу. Навстречу неслись желтые и серые псы. Хриплыми, угрожающими голосами они встретили нас, но, видимо,



Несколько зданий стояли на песчаном пригорке.

узнав экипаж и лошадей, отстали и занялись своими делами.

Несколько зданий, неподалеку друг от друга, сгрудились на песчаном пригорке,—это был рыбный промысел.

На берегу стоял ворот — колесо на толстой балке с просунутыми жердями-водилами, от которого бежал в море аркан, натянутый, как струна. Человек двадцать горцев работали воротом, и слышно было, как скрипело колесо. К нам подошли.

Один в высоких сапогах и папахе, а другой в шляпе и длинном, вроде халата, пальто.

Мы поздоровались.

— Я с вами до Дербента,—сообщил доктор, садясь на линейку.

— Как селедка? — махнул я рукой на неводник [1], где сидели весельщики, а на корму набирался черным кружевом невод.

— Какая рыба! Только себя мучаем, — ответил промысловый.—Холод такой. Сельдь любит теплую воду, а сейчас на глуби вода теплее. Чорт ее затащит к берегу!



На берегу стоял ворот.

Он положил пакет, который ему дал мой горец, в карман и пошел к неводу.

— Едем!—скомандовал доктор.

* * *

Мы сидим на горе, над Дербентом. Внизу под нами город, за ним линия железной дороги. До нее, ближе к нам, камни и город, а за ней берег и Каспий.

---

[1] Большая лодка, на которой завозят невод с берега в море; на веслах двенадцать-десять человек и один на рулевом весле кормщик.



Неводник, где сидели весельщики, а на корму набирался невод...

Над нами голубое небо с длинными вдоль горизонта белыми облаками.

— Дербент боится дождя, а не пожара,—говорит доктор, сталкивая палочкой камешки, которые быстро катятся под гору.

Весь из глины и камня и таким был с самого основания его персами еще в V веке, — рассказывает он. — Здесь проходили полчища Тамерлана на битву с ордами Тохтамыша. Посмотрите, вон самое узкое место прохода,—там с давних пор было укрепление, и когда гуннам понадобилось проникнуть в Закавказье, им пришлось брать приступом эту крепость. Кто только ни сражался под стенами этого города! Хозары, Сассаниды, арабы, войска Александра Македонского, персы, турки и русские!—доктор обернулся ко мне.

Вспомните, еще Федор Иоаннович вел переговоры с персидским шахом Эмиром об уступке Дербента за союз против турок! При Петре I, во время персидского похода, не мало русских солдат полегло здесь при захвате крепости. А взгляните сюда,—он указал на отгороженное место, недалеко от города,—это бывшее мусульманское кладбище; на нем погребены вожди первого отряда арабов, который пришел в Дагестан не только с «огнем и мечом», но и с исламом. Эта религия была водворена здесь надолго среди татарских племен. И все это потому, что только здесь, от древних времен и до настоящего времени,— доктор показал палкой на мчащийся поезд,—происходило постоянное движение народов.

Серые кубики домов, глиняные заборы и полуразрушенные стены города начинают приобретать в моих глазах новое значение, растет уважение к развалинам укрепления и камням крепостных стен.

Когда мы, спустившись с горы, идем по широкой улице мимо консервного завода, доктор продолжает:

— А перед войной город жил селедкой. Эта была сплошная сельдяная биржа. Вся жизнь равнялась по пузанку! Честное слово! Город имел сам рыболовные воды и сдавал их в аренду. Сюда весной на полтора-два месяца с'езжалась вся торгующая рыбой Украина, Донская область и Северный Кавказ. Это было второе нашествие гуннов! Комиссионеры, промышленники, спекуляция, надувательство, пьянство—до того момента, как кончался лов сельди. Затем занавес закрывался, вся эта орда раз'езжалась, и город затихал до следующей весны.

Мы проходим мимо строящегося каменного корпуса.

Каменщик, весело постукивая молотком, поет.

— А это,—я указываю на фабрику,—ваше настоящее и будущее?

— Совершенно верно,— соглашается спутник,—перестраиваемся. Это знаете что? Шерстопрядильная фабрика

с красильней и прочим. Вы видели когда-нибудь «кавказское сукно»?

— Ну как же, носил даже, — отвечаю я.

— Так вот это работа кустарей, а теперь они получат дешевую пряжу, материи будут окрашиваться здесь в прочные краски, и даже трикотажному делу их будут обучать.

Навстречу начинают попадаться горцы в высоких шапках, смуглые, молчаливые. Мы идем по главной улице Дербента, но города не чувствуется. Есть дома, названия улиц, но нет города —так сильно еще властвует природа.

Солнце, воздух, ветер одинаковы на горе и здесь, на проспекте, где важно прогуливаются белые козы, а на углу читает газету извозчик.

* * *

Рельсовый путь, проложенный вдоль горных отрогов и захватывающий рыбные промысла, расположенные у моря, напоминает о культуре, промышленности и связывает этот неуютный берег с общей жизнью страны. Поезд подходит к станции «Огни». Впереди на лиловом фоне гор видны дымящие трубы стекольного завода. На нем местные горцы, заменив иностранных мастеров, работают на машинах Фурко.

Топливо — бывшие «священные огни», которым еще недавно земно кланялись отцы. Дети же встали с колен и, бросив поклоняться, заставили природу служить себе.

Выхожу из вагона Воздух свежий, весенний, охватывает, и на секунду кружится голова.

По ровной, как доска, земле тянется дорога. Кое-где, как прилипшая вата, видны клочки снега.

Над бурой прошлогодней травой спускается стайка чибисов.

Дальше коричневая степь, за ней черные горы с блестящими пятнами снега. За ними вершины, белые, как облака, а за горами облака, белые, как вершины.

До берега километра три, а я уже вижу высоко поднявшийся Каспий.

Иду мимо землянок—«казма», около которых движутся зимовники-горцы.

Скот еще на равнине, но скоро от жары и комаров его опять погонят в горы на свежий корм. Около землянок распахана земля, и несколько человек что-то делают, пригибаясь к земле. Два горца чинят забор вокруг загонного двора.

Чувствуется, что кочевой быт уступает, и, связавшись с землей, человек начинает жить оседлой жизнью.

Навстречу мне тихо, нога за ногу, везут телегу рогатые быки. На телеге сидит горец, а рядом с ним в тюбетейке черноглазый мальчик с длинным прутом в руках.

— Тут по дороге собак не видно?—спрашиваю я.

Горец молча мотает головой направо и налево.

Я смело иду дальше.

Внезапно налетает ветер. Слышно, как ревет накат. Я подхожу к гребню прибрежных дюн и вижу, что люди на берегу бегают, как потревоженные муравьи, что-то кричат и машут руками. Громадные валы, обгоняя друг друга, бросаются на берег, волна не успевает разбежаться по песку, как на нее падают все новые и новые белые хлопья. Ураган с севера рвет и сметает с гребней белые верхушки. Шумит прибой. Нет сил итти вперед.

Там, где рождаются пенистые валы, мелькает черным пятном неводник. На нем люди. Двенадцать-пятнадцать человек, которые завозили невод в море.

Видно, как часто мелькают весла, но шторм, повернувший вдоль берега, мешает грести.

Толпа на берегу шумит. Слышны отдельные крики:

— Веревку давай, канат!

Кто-то бежит к лабазу и обратно. Вот уже ясно видны люди в неводнике.

На корме без шапки стоят двое; середина неводника пуста,—невод успели выкинуть в море,—а в веслах, сбившись попарно, чернеют двенадцать папах.

Подхватила волна, и лодку подняло. Вот она—вся наружи! Дно, длинное рулевое весло. В толпе ни звука.

И вдруг...—ррр-аз!

Неводника нет. Закрыв его, скачут водяные горы.

— У-у-у! — проносится ропот.

Снова показывается неводник. С него слышны крики.

В ответ раздается ненужный рев голосов.

Лодка приближается к берегу. Кажется, еще немного,— и люди будут здесь. Но навстречу несется шторм, и нет сил взмахами весел прибиться к берегу. С лодки бросают весло с привязанным канатом.

Миг, и волна уносит его под корму. Вон оно бьется, как попавшая на крючок рыбина.

Снова под'ем волны и удар неводника о жесткое дно.

— Разобьет!—вырываются крики.

Рабочие то разбегаются, то снова сходятся в кучу. Пытаются войти в воду с протянутым на шесте канатом, но набегающие валы сбивают с ног. Кого-то подхватили и успели оттащить дальше на берег.

Рулевой повернул неводник, и видно, как в распахнутых, мокрых полушубках весельщики напрягают последние силы в борьбе с волнами и ветром.

Какой-то безумец бросается в воду и, крикнув, падает на берег, сброшенный ударом волны.

Шторм ревет.

Вдруг весельщики бросают весла и их искаженные лица смотрят на нас, а шеи и руки вытягиваются нам навстречу.

— Аа... Аа!.. — на секунду режет воздух, и новый вал заливает лодку, людей, крики.

Напряженная мысль: покажется или нет?

Показался! Не крики мольбы, а рев ярости несся с лодки. Мы стояли, не двигаясь с места, не переводя глаз, едва дыша.

— Якорь!—зазвенело в воздухе.

И в то же мгновение что-то мелькнуло с неводника.

На руль навалились двое, от носа в глубь моря метнули якорь.

Неводник стал поперек ветра, и через минуту вместе с людьми его выкинуло на руки стоявшей на берегу толпы.

* * *

Весна в этому году запоздала. Погода все время холодная, постоянно дует сильный ветер, то с севера — норд, то с юго-востока — зюйд-ост.



... Невод путается, неправильно сплывает ...

Невода, по выражению Михала Михалыча, «цедят воду». «Народ»—горцы, которые должны тянуть невода, выбирать из мотни[1] селедку, ходят без дела.

Рыбы нет даже «на котел», то-есть для еды.

Вот и сегодня закинули второй раз невод, но ветер сбивает к берегу, невод путается, неправильно сплывает, и слышно, как с досадой ворчит «береговой»—распорядитель тяги.

— Чорт дери! Того и гляди невод на камни посадишь,— он чешет под папахой,—и когда это тепло будет?

---

[1] Часть невода, куда сбивается рыба при притонении его к берегу.

Один конец невода — «пятной» — лежит на берегу, его держат два лезгина. Они растянулись на песке.

Веревка, идущая к другому концу невода — «бежному»,—тоже на берегу, и невод в море имеет форму дуги.

Но дуга под напором ветра меняет форму, и невод начинает «складываться», то-есть одна его часть прижимается к другой.

Этого нельзя допустить, и «береговой» машет шапкой и кричит горцам, чтобы те быстрее тянули аркан. Во время тяги горцы не поют в такт работе, как это делают калмыки на астраханских тонях. Может быть, нет у них таких песен (недавно ли сравнительно они стали работать на рыбных промыслах), а может быть, разноплеменность мешает, — но общей песни, облегчающей работу, нет.

Какой же выход? Ведь вытащить невод длиною в две тысячи метров на берег — это не шутка!



...Откололи два-три коленца лезгинки...

Надо тянуть в такт, одновременно каждому и всем вместе.

Поэтому, когда приходит группа—«комплект» рабочих, участвующих в тяге невода, то они выделяют зурнача и барабанщика.

Первый дудит в трубу — зурну, а второй бьет в барабан во время тяги невода, что продолжается часа три-четыре.

Сейчас из «казармы» бегут на подмогу, а за ними зурнач и барабанщик. Дробь барабана, резкие звуки зурны и крики людей—все вместе сливается в воздухе. Вот двое не выдержали, отхололи два-три коленца лезгинки и снова впряглись в невод.

Все выше и выше растет гора поплавков (балбер), поддерживающих невод «на плаву», перемешанная с сетью невода.

Часть рабочих отделяется и идет к другому концу невода.

Выравнялись, и теперь обе партии тянут одновременно за концы, стараясь, чтобы они шли равномерно и самая «мотня» находилась бы посредине дуги, которая образуется неводом.

Тянут крыло невода, и в нем блестит запутавшаяся сельдь. Мерно покачиваясь в воздухе, застрявшая в ячее невода, движется на берег рыба. Вот уже эта часть невода на сухом.

Селедка делает движение и падает на светло-коричневый песок.

Серебряно-фиолетовым отливом блестит чешуя.

Рыба открывает рот и поднимает жабры.

Изгибаясь, она два-три раза ударяет хвостом по песку и—конец!

— Селедка, как кисейная барышня, рыба нежнеющая,— говорит береговой, поднимая с земли селедку.

— Посмотрите,—он протягивает мне рыбу длиной около сорока сантиметров,—это по-нашему сельдь черно-

спинка. Ее мало ловится по этому берегу, и бывает она в начале хода.

— Какая же сельдь здесь ловится?

— У нас не сельдь, а пузанок.

Он оглянулся, подошел к неводу и вытащил еще селедку поменьше, сантиметров двадцати, с широким брюшком и большими глазами.

— Вот, пожалуйте! Видите, какое у ней пузо большое? Поэтому она и называется «пузанок».

Он бросил селедку на песок.

— А сельди, прямо сказать, нестоящее количество. И бывает она спервоначалу, а как подвалит пузанок, так ни сельди, ни судака и духа нет.

— Тяни, тяни, гоп-гоп! — крикнул он своему подручному.—А еще может пойти вперед пузанка килька. Этой тоже много бывает. Только в наших неводах она не вся удерживается, ячея велика, проскакивает. Скипастями ее ловят. Вон,—он показал на небольшой изгиб берега, где белел домик,—это рыбаки на скипастях стоят, эту самую кильку ловят. Сдают ее на консервный завод.—А ну! А ну! А ну!—закричал он снова и бросился к неводу. Подошла мотня и в ней немного рыбы: сельдь, пузанок, судак и еще что-то.

К берегу, к мотне невода, где плещется рыба, один за другим, с тачками в руках, подкатывают «тачечники»—рабочие.

Тачка на одном колесике с двумя деревянными ножками вмещает около центнера[1] свежей рыбы. Горец, пока накладывают в тачку рыбу, покрикивает на своих товарищей, вываливающих сельдь из мотни большими сачками.

— Айда, айда!

Несколько взмахов сачками, и тачка полна; рабочий берется за ручки и, ловко направляя колесо тачки по деревянным доскам, проложенным от берега к лабазу, почти бежит к чанам.

---

[1] Центнер — 100 килограммов.

За ним другой, третий—и так человек двадцать. Сегодня рыбы мало, и работают не все.

Иду в лабаз.

Под деревянным навесом в два ряда зияют сорок чанов, готовых принять сельдь. В дальнем углу белеет снежным бугром насыпанная соль. Такие бугры, но поменьше, положены между чанами.



...Подошла мотня и в ней немного рыбы: сельдь, пузанок...

Главный солельщик Иван Кузьмич с маленькой лопаткой в руке стоит между двух чанов и смотрит, как ссыпают из тачек сельдь.

— Равняй, равняй!—приказывает он двум своим подручным, рослым горцам в фартуках и кожаных рукавицах. У них в руках длинные, метра по четыре, шесты, на конце которых прибита дощечка. Сельдь, сваленную кучей, они разравнивают по чану.

Когда слой сельди, по определению Кузьмича, достаточно равномерно уложен, он берет лопатку и кидает соль.

Соль скидывается не как-нибудь, а веером. Присутствие постороннего сказывается на этой операции, и соль так ловко сбрасывается, что кажется, если сосчитать число крупинок на каждой селедке, то оно окажется одинаковым.

— Ловко! — невольно вслух восхищаюсь я.

Кузьмич передает лопатку, и подручный старательно, но не так ровно, начинает посыпать новый ряд сельди.

Чан постепенно заполняется сельдью, которую непрерывно подвозят с берега.

— В середку подкинь, в середку,—учит Кузьмич.— В середку надо побольше соли, а то загорится[1] сельдь — об'ясняет мне Кузьмич.

Я беру горсть соли.

Сыроватая, крупинками с конопляное семя, соль чуть желтоватого цвета.

Встряхиваю ее на ладони.

Кузьмич подходит ко мне и об'ясняет:

— Это кулинская, с озера Кули на том берегу Каспия. А вот пойдет пузанок, ту будем баскунчакской солить.

— А какая разница?

— Да этой на чан немножко побольше сыплем, она послабее. Ну, а та покрепче — той поменьше.

— В течение какого срока просаливается рыба? — спрашиваю я.

— Да ведь какая сельдь. К примеру, пузанок—готов через 6—7 дней, а крупная сельдь — та дольше. Еще и от погоды зависит. На дворе потеплее — поскорее поспевает.

— А когда готова, так сейчас же упаковываете в бочки и отправляете?

— Мелкую сельдь обязательно. Зачем ее держать? Нам чаны надо под новую сельдь, а у вас там в России давно уж

---

[1] Испортится благодаря недостатку соли.

заждались селедочки, только давай. Крупную—залом, полузалом—эту до осени оставляем. Ее в теплое время убирать не годится — испортишь.

Я нагибаюсь над чаном, полным серебристыми рыбами с большими глазами. Чуть слышный шелест поднимается от этой массы полууснувшей сельди. Сейчас ряд соли закроет ее.

— Живой товар,— как бы угадав мои мысли подсказывает Кузьмич,—в самый раз, хорошо! А как подвалит иной раз в одну мотню вагонов двадцать, ну, тут только поспевай. Полежит часок,—глядишь она и с загарцем выходит, немножко порченая.

— Неужели по двадцать вагонов ловят?- спрашиваю я.

По двадцать!—усмехается Кузьмич.—Позапрошлый год на «Золотой тоне» за один раз тридцать два чана налили, да еще в мотне осталось чана с два, так ту бурун растрепал, пришлось мотню разрезать и выкинуть. А бывает и по сорок!

Здесь оперируют крупной мерой. «Чан» сельди по весу приблизительно равен весу товара который входит в железнодорожный обыкновенный вагон. Таким образом счет идет «на вагоны», или «на чаны».

Подкатывает тачечник.

— Сельдь иок,—говорит он Ивану Кузьмичу.

— Что поделаешь, — сочувственно качает головой солельщик, — не время еще.

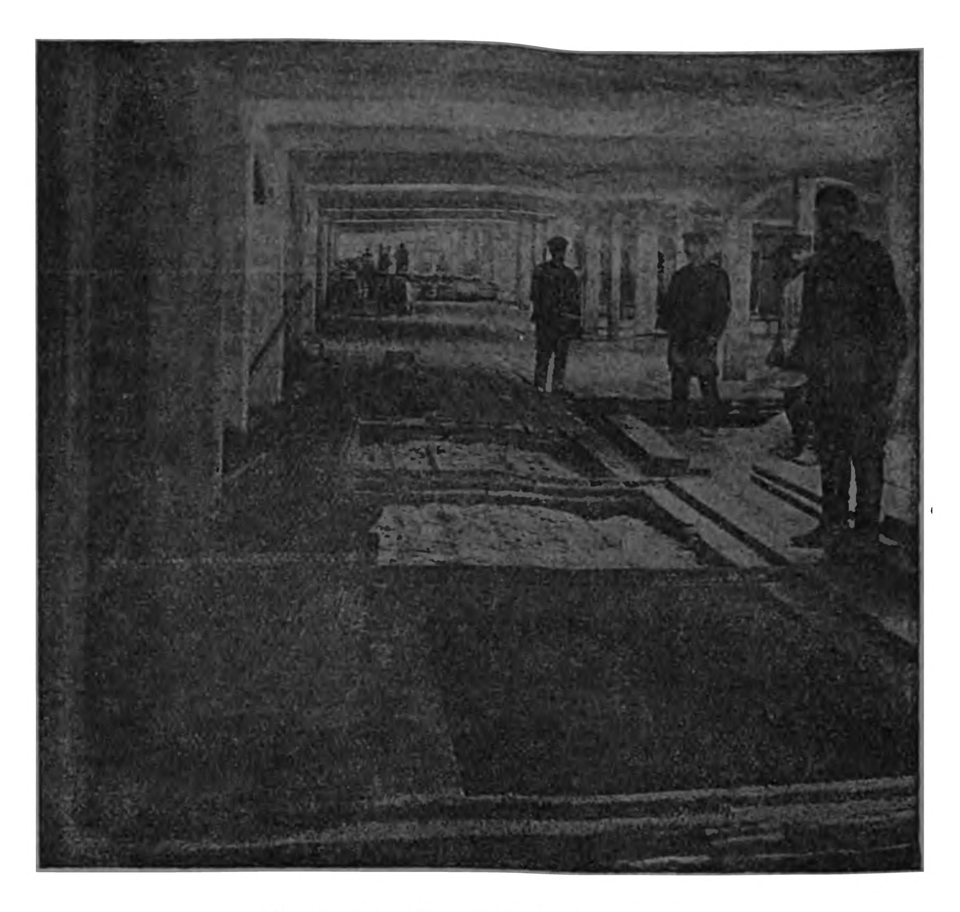
Он лопаткой подхватывает из бугра соль и несколько раз набрасывает ее на сельдь. Готовые, полные чаны закрывают рогожами, а неполный чан остается открытым. Мы идем к выходу.

По пути я опускаю палец в полный до краев ларь с сельдью.

Острая боль от холода.

— Однако какой холодный рассол!

— Тузлук температуру держит не выше семи градусов.



Он лопаткой подхватывает соль...

— Беда, если согреется,—пропала рыба,—говорит Кузьмич.—За этим строго следим, когда сельдь оставляем до осени.

— Ведь летом здесь жара?

— До шестидесяти доходит, можно в день селедку протушить.

На берегу охватывает ветер. За свинцовыми облаками скрывается солнце. Высоко над долиной берега летят к северу журавли.

Перехожу маленький залив. У песчаной косы в воде купаются кулички. Весна где-то близко.

Сквозь сон слышу голос Ракаева в соседней комнате:

— Ты, братец мой, не промахивайся. Понимай, как тебя учитывают.

— Да я, Семен Иваныч,—оправдывается Мишка,—сей момент остановил лебедку.

Мишка приставлен следить за тягой аркана невода механической лебедкой. Ему приказывают: «пустить лебедку»,— он включает электрический ток в мотор; кричат: «стой», — он прерывает ток.

Судя по тону голоса Ракаева, Миша что-то согрешил, и сейчас Семен Иваныч его «отчитывает».

— Твое дело впереди, будь внимательней, этим самым покажешь себя. Надо, чтобы тебе только «чуть», а ты сам стал понимать. Меня эта нецелесообразность завсегда корябает. Что, сегодня тянут?

— Тянут.

— А кто на лебедке?

— Мараев. Погода больно туманная.

— Сейчас рано, может, разветрится. Ты ставь чайник, я сейчас.

Слышно, как Миша хлопает дверью.

Я кашляю.

Что, проснулись?—спрашивает Ракаев и появляется на пороге.

В это время шумно вбегает Мишка.

— Семен Иваныч, сельдь показалась, так и рябит в неводе.—Он так же внезапно скрывается.

Я хватаюсь за сапоги, пальто, шапку и тороплюсь за Ракаевым, который, завернув полушубок, стремительно выбегает за дверь. Нахлобучив шапку и на ходу застегивая пальто, бегу к берегу.

Ноги вязнут в песке. Справа и слева, поодиночке и группами, спешат туда же ребята, промысловые служащие и их жены.

Подхожу к лебедке. Ее зубчатые колеса, цепляясь друг за друга, вращают вал и «барабан», на который накручивается канат, тянущий невод.

Лебедка гудит, а маховое колесо электрического мотора, двигающего лебедку, бесшумно мелькает в прозрачном воздухе раннего утра. Двое горцев принимают канат с лебедки, а остальные — человек тридцать или сорок — кто сидит, кто стоит на берегу и наблюдают за подходом невода.

— «Механия»,—вспоминаю слова заведующего промыслом.

Правда, пока еще приходится держать на промысле «живую силу» на случай, но и то хорошо, что бурлацкий способ уже заменяется частично машиной. Пока подойдет невод (его мотня), электрический ток через мотор и лебедку заменяет рабочих.

Это сегодня, а завтра...—завтра рисуется в таких заманчивых, ярких красках, что останавливаешь себя на полдороге мечтаний.

Ракаев стоит у регулятора, рука его не просто положена на колесо, а как бы ласкает машину.

— Вот вам наглядная картина, как может работать наша лебедка,—обращается он ко мне.

Действительно, машина работает хорошо. Канат идет ровно, невод мерно подвигается к берегу, поплавки его не тонут, мотор без перебоев,—что еще?

Гляжу на другой конец невода—«пятной»,—там он уже на берегу, лебедка остановлена, и группа рабочих, лежа на песке, смотрит в море на приближающийся невод.

Сейчас море гладкое, как стеклянный шар. На востоке, где должно взойти солнце, розовые полосы потянулись и затухли в белом тумане, уходящем за горизонт.

Черные поплавки невода отрезали часть моря. Оно рябит, и чувствуется движение миллиардных масс под этой взволнованной пеленой.

— Балык бар, балык бар (есть рыба),—повторяет сидящий на корточках лезгинец в громадной папахе и мягкой светло-зеленого цвета кожаной обуви.

— Бо-ольшой косяк зашел!—шепчет мне на ухо береговой.

Невод все ближе и ближе. Рябь становится сильнее, кажется, что слышны отдельные всплески рыб.



... в крыле сельди нет...

За моей спиной Миша спорит с кем-то:

— Пари, хочешь пари, что двадцать чанов поймают?

— Двадцать?—сомневается собеседник.

— Ну, хочешь пари?

Из воды показалась распорная палка поддерживающая «крыло» невода в растянутом положении.

— Стой, стой, Ракаев!—закричали с берега на лебедку.

Гул прекратился. Горцы быстро бегут к неводу, захватывают одни верхнюю, другие нижнюю веревку крыла невода и под звуки откуда-то появившегося барабанщика тянут на берег.

— Что же это «в крыле»[1] сельди нет? — удивляется береговой. — Какой же косячище[2] захватили, а нет!

Подбегает кто-то из распорядителей лова и кричит:

— Тяни, тяни!

Зурна заливается трелью, щеки у музыканта того и гляди лопнут, а барабанщик от волнения не может стоять на одном месте.

По мере того как мотня подходит к берегу, я замечаю, что рябь, производимая рыбой, начинает постепенно выходить из окруженного неводом пространства.

— Что такое?—хватаю я за рукав берегового.

— А, чорт, — это килька, наверно.

Невод подошел. Переливаясь серебристым и фиолетовым цветами, мотня кишела миллионами маленьких рыбок.

— Килька, килька,—разочарованно повторяли на разные голоса. Я посмотрел на море: направо, в двухстах метрах от берега, характерной рябью уходила килька. Солнце красным кругом плавало на востоке, а от него вверх бежали золотистые стрелы, разгонявшие остатки туманных облаков.

Надо мной, между двумя столбами, на проводе, идущем от электростанции к мотору, сидел скворец и, обернувшись к солнцу, трепыхая крыльями, выводил трель, и было видно, как колебалось горло.

*

Отроги Кавказского хребта иногда добегают до моря, рассыпаются на отдельные гряды и камни. Гряды уходят под воду и ступенями спускаются в глубину Каспия. По ним

---

[1] Крайняя часть невода.

[2] Косяк — стая рыб.

весной с зимних лежбищ[1] поднимается сельдь, стремясь к берегу, чтобы выметать икру и дать потомство.

Ей привольно среди подводных камней, над которыми гудит прибой, отгоняя пресную воду горных речек, впадающих в море.

Если подниматься от Апшерона на север до устьев Терека, то не найдешь ни одной хорошей гавани. Остатки скал—мысы Рубас, Дербентский, Турали, Буйнак—делают берег недоступным, а песчаные косы рек создают барьеры, через которые не перепрыгнуть пароходу.

Капитаны, рейсируя по линии Баку—Махач-Кала, забирают подальше от этого берега — на середину Каспия.

— Оно лучше, поспокойнее,—говорят они, посматривая в бинокль на вершины Сара-Дага.

Если бы не искусственный мол, врезавшийся в грудь Каспия, то даже порт Махач-Кала не укрывал бы суда от здешних ураганов.

Нет гаваней—и нет мелкого прибрежного судоходства.

В 1922 году в первый раз у самого моря запыхтел паровоз, и забегали вагоны, соединяя рыбные промыслы с главной магистралью Владикавказской дороги. Шаг за шагом рельсы прорезали берег во всех направлениях, застучал телеграф, и зазвенел телефон.

Если вам надо с Дивичи попасть в Белиджи, отсюда, заехав в Дербент, где вас угостят хорошим местным вином, побывать в Хачмасе—городе яблоков—и Буйнаке, а под конец сесть на пароход, который отходит в 6 часов вечера из Махач-Кала в Астрахань, то все это путешествие вы успеете проделать, благодаря железнодорожному движению, в течение того же времени которое надо пароходу, чтобы сделать рейс между Баку и Махач-Кала.

Иду на станцию,—белый одноэтажный дом среди голой степи,—и беру билет до следующего пункта по направлению к Махач-Кала.

---

[1] Места залегания рыбы.

Не успел войти в вагон, как в проходе встречаю знакомого доктора.

— Ба, ба, ба! Вы куда? Садитесь вот сюда к окошку,— он передвигает свой саквояж, и мы усаживаемся друг против друга. Не успеваю ответить, куда я решил ехать, как доктор, он же и «историк», как я мысленно его называю, выпаливает в меня.

— А знаете, на промыслах малярики появились! И откуда?—он удивленно поднимает брови и разводит руками.— Вот еду на Каягент, оттуда на Сулак и затем назад в Гюрген-Чай.—он откидывается назад.—Ведь поймите,—он берет меня за пальто,—комарам сейчас рано быть. Ну, конечно, рецидив[1], промочил ноги, холод – вот и пожалуйте. Сегодня звонит мне Михал Михалыч, знаете его?

Я утвердительно киваю головой.

— Немедленно приезжайте, привозите хины и прочего, двенадцать человек слегли. Чорт знает. что такое!

— Вот вы и мечетесь?

— Вот и мечусь!—подтверждает доктор.

— Говорю, каждый год говорю: выписывайте гамбузию,— рыбка такая есть, которая пожирает личинки комаров, осушайте водоемы у промыслов и хину, хину, хину!

— И что же?

— Что же,— доктор ищет в кармане папиросы,— я и малярия нужны, пока не показалась сельдь, а как только попало в невод десятка два-три чанов, так до свиданья! Мы попадаем не только на второй план, а просто за кулисы.

— Не может быть,—сомневаюсь я.

Доктор не успевает возразить, как поезд останавливается. Мне надо уходить. Мы прощаемся.

— Звоните и скажите, где вы, куда и когда вы поедете,—трясет мою руку доктор.—Я вам должен рассказать.

---

[1] Повторение.

как здесь хозяйничали арабские наместники—шамхалы в пятнадцатом веке.

Поезд трогается, и на ходу он успевает докончить:

— Любопытные документы я достал из аула на р. Кумской Койсу, район Кумуха, жителями которого управляли...

Паровоз пускает белый пар, что-то стучит, шипит, а когда прекращается этот свист, доктор уже далеко, и только видно, как он машет черной шляпой из окна вагона.

Ветер переменился, и вместо норда тихо тянет с востока. Иду к берегу. Перед складкой[1], которая образо-



... стоят трое горцев, провожая меня любопытным взглядом...

валась вследствие отступления моря, видны жилища, одинокие, как заброшенный в степи хутор. Около них стоят трое горцев, провожая меня любопытным взглядом.

---

[1] Небольшая возвышенность почвы.

На бугре складки растет редкая трава, пасутся овцы и козы, отдельно от них—лошади. Миную их и подхожу к промыслу. Вот помещение промысловых рабочих. На коньке новой, сверкающей оцинкованным железом крыши сидят кровельщики и по очереди стучат деревянными молотками.

Здание почти готово.

Заглядываю в дверь. Светлая, просторная комната уставлена в два ряда кроватями, вдоль стен тянутся полки, на которых лежат разные вещи и утварь.

В углу жестяной бак с кружкой на цепочке. Четверо горцев стоят в проходе между кроватями и о чем-то, видимо, смешном, говорят на непонятном мне языке. Стоящий ко мне лицом прищелкивает языком и пальцами, и после его слов все четверо хохочут.

Направо, в углу, еще группа. Они говорят громко, совершенно, видимо, не интересуясь присутствующими, и их речь непохожа на язык первых.

Древнее предание говорит, что Кавказ—«гора языков»: аварский, даргинский, лакский, табасаранский, кюринский и андийский, а затем идут наречия, которых чуть не столько же, сколько обществ. На промысле обычно 350—400 рабочих горцев; тут и аварцы, и даргинцы, лезгины, ногайцы, тюрки, кумыки, и кого только нет! И все разноплеменное население говорит, поет и кричит на разных языках.

Михал Михалыч называет—«Дербентское столпотворение» и сам громче всех кричит и командует чуть ли не на всех наречиях. По крайней мере не было еще случая, чтобы его горцы не поняли.

* * *

Что же сегодня не тянете? — спрашиваю я, подходя к русскому рабочему, который, нагнувшись, чинит прорванную сеть.

— Не тянем. Сельди нет. Да еще случай у нас вышел— заведующий заболел.

— Что с ним?

— Должно, вчера простыл слишком. С утра, как первую тоню стали давать, он сам поехал метать невод. Отплыли далеко, а погода—дождь, да затем снег пошел, берега-то не видать. Надо быть, стали поворачивать, случись ветер, и понесло, конечно, в море. Сын его,—береговым он у нас,— видит по времени, срок неводнику на берегу быть,—ан нет.

— Ребята,—говорит,—плохо дело. Давай спускать на канате лодку в море, навстречу неводнику, а то потонут люди—унесет их в море.

Мы, конечно, живой рукой давай спускать на аркане лодку по ветру.

Концов с тысячу, как не больше, выпустили каната, а на лодке сын сел и я с ним. Волна, холод. Только в тумане слышны голоса. Сами подали. Конечно, нанесло ихний неводник на нас. Обледенели они здорово. А уж тут, известное дело, захватили их с неводником и через канат добрались до сухого. Старик с этого, должно, захворал: долго ли простыть.

Он замолчал.

— Может быть еще поправится, — сказал я.

— Да ведь оно конечно. Бодрый старик, несмотря, что семьдесят годов ему,—подтвердил он.

— Жаль, время проходит. Смотри, тюлень у берега показался!

Я взглянул на море.

В разных местах чернелись круглые головы тюленей. Они то появлялись на голубой поверхности моря, то снова исчезали.

Я насчитал семнадцать штук. Тюлени держались метров четыреста, не ближе, от берега и довольно разбросанно друг от друга.

— Теперь жди ходовой сельди, беспременно на утро будет,—уверенно подтвердил чинильщик.

— При чем же тут тюлень?

— А как же? Не знаешь рази, что тюлень за сельдью идет. Это его самая настоящая пища.

На этом берегу у большинства старых служащих и рабочих есть твердая уверенность, что тюлень питается только сельдью, хотя в действительности он ест не одну только сельдь, а бычков и ракообразных. Поэтому появление у берегов тюленей рассматривается, как признак подхода сельди.

— Курьмин,—обратился к моему собеседнику подошедший парень. Это был «береговой», сын заболевшего старика.—Кричи народ, метать будем!

— Как отец?—спросил я его.

— Что ему,—усмехнулся парень,—он еще лет десять проработает, —железный!

Стали набирать[1] невод.

* * *

Второй день «страшенный жар», как говорит солельщик промысла Коягент.

Мы,—я, солельщик и Ракаев,—сидим на деревянном ящике в тени около материального склада. Ракаев ночью приехал сюда для испытания двигателей электрической станции. Он попрежнему в меховом пиджаке и шапке, но ворот у рубахи расстегнут, и шапка сдвинута на затылок.

Невод в море. Мотня подойдет не скоро, и есть время дослушать солельщика.

— Ты хину пей, хоть от нее толку мало, а все-таки помогает,—говорит он Ракаеву.—Я вот за свою жизнь на промыслах, за сорок пять лет, наверно, вагон хины выпил.

— А водку можно?—спрашивает Ракаев.

— Раньше пил, а теперь годов восемь бросил. Думаю, что не очень полезно.

— На промыслах работать,—думает вслух Ракаев,—не иначе малярией захвораешь.

---

[1] Укладывать в лодку-неводник.

— А меня рыбное дело интересует: оно новое и мне, мастеровому, очень можно быть на месте и полезным в деле механизации.

— За сто, за семьдесят пять рублей оно, конечно, интересно,—замечает солельщик,—только эта ваша механ... механическая часть против ручной далеко.

— Это сейчас, дай срок, наладим, не поспеешь солить.



... Стали набирать невод ..

— Не поспеешь, нешто это от вас? Не подойдет рыба, или шторма будут,—никакая гайка не поможет.

— Почему ей не пойти, пойдет!

— Не повернет вожак,—и не подойдет.

— Какой вожак?—вмешиваюсь я в разговор.

— Какой, князек по-нашему, вот какой! За главного он у сельдей, — уверенно говорит солельщик. — С виду он такой же как обнакновенный пузанок, только на лбу его горит красный цвет, и щеки у него красные. И знаешь ли,—

это в воде горит у него огнем, как фонарь светит. Во все стороны лучи идут.

— Чудеса! — усмехается Ракаев.

— Когда наступает пора итти сельди бить икру, поднимается она с самой глуби Каспия. Первая глубина—это Дербентская яма. Когда Петр Первый приказал море Каспицкое промерить против Дербента, то поехал лоций[1]-инженер. Мерял, мерял, канатов пять тысяч связал и дна не достал.

Явился к Петру и говорит: «Дна здесь нету!» А Петр ему отвечает: «Ах, так и так?—говорит.—Спустите его в Каспии в эту яму, где дна нету, пусть он насквозь земли проскочит!» Так лоция и утопил. А вторая глубина—насупротив Баку, немножко пониже. Там и на самом деле дна никто не доставал.

— Скажи на милость,—удивляется Ракаев.

— Вот с этих-то самых ям и подымается сельдь, а впереди ее вожаки. Сколько я на промыслах, завсегда в первые уловы попадает пять-шесть этих вожаков. И замечай — в ту весну улов будет хороший. А как заблудился вожак или, може, на снасть в море угодил, — так разбредется весь косяк сельди, кто куда, и лова настоящего не будет.

Я молчу, и он, как бы желая подтвердить правильность своих слов, уже обращаясь ко мне, заканчивает:

— Вот погодите, притянут невод, если будет, обязательно вам вожака покажу.

Он встает и неспеша идет к берегу.

— Хитрое это дело—рыбу ловить,—медленно заключает Ракаев, утирая рукавом потный лоб.

— Да,—соглашаюсь я,—все может быть приготовлено, налажено: люди, суда, невода, соль, машины, а не пойдет сельдь к берегу, и—пропали все труды и деньги.

Над неводом кружатся и кричат чайки. Постепенно число их увеличивается. Они не только вьются и ныряют

---

[1] Морской.

около невода, но часто садятся на поплавки и на них плывут.

— Сельдь есть, смотрите, сколько мартынов, — показывая на чаек, говорит «материальный», запирая склад.— Идемте на берег!

Мы встаем.

Еще ночью был туман и холодно, а сейчас палящее солнце и духота, от которой не знаешь куда прятаться.



... Крылья невода, сплошь набитые сельдью.

— Сельдь, сельдь пошла!—слышны восклицания. Каждый, кто свободен, спешит на берег.

Здесь, увязая в теплом песке, шумит и переговаривается толпа промысловых служащих. Рабочие подтягивают крылья невода, сплошь набитые сельдью.

Горцы стоят наготове, держа в руках порожние тачки. Кто будет «выливать» сельдь в тачки, одевается в кожаную одежду и приготовляет сачки. Трое горцев садятся в лодку, где лежит приготовленный для обметывания мотни крупноячейный бредень. Несколько человек устраивают мостки,— подходы с берега, где подойдет мотня.



Об'езжают на лодке мотню.

Кто-то тащит крепкие деревянные козлы. Все кричат, волнуются, бегают, увязая в рыхлом песке. Широко раскрыты все двери рыбосольных лабазов, и в дверях, как актеры перед началом спектакля, стоят солельщик и его помощники. Концы невода стягивают все ближе и ближе. Уже обе группы рабочих, тянувших порознь крылья невода, теперь почти сошлись. К ним присоединяются новые, и под крики «береговых» делаются последние усилия, чтобы вытащить невод на берег. Его средняя часть, до того времени скрытая под водой, вдруг медленно начинает всплывать, как громадный шар, внутри которого трепещет и плещется миллионная масса рыбы. Прикидываю размеры мотни: 15—16 метров в квадрате. Все полно сельди. Сельдяная каша движется, хлопает плавниками, открывает жабры. Вода постепенно вытесняется, и гора живой сельди ползет к берегу.

— Обметку, обметку давай!

Быстро об'езжают на лодке мотню и захватывают ее в редкий, но прочный бредень—обметку.

— Пятнадцать или двадцать чанов,—кто-то шепотом подсчитывает позади меня.

— Крепи обметку, ставь козлы!—распоряжается заведующий промыслом.

По грудь в рыбной каше, двое рабочих устанавливают козлы и на них надевают задний край мотни.

— Готово!

— Пусти, берегись, эй!—кричат выливщики и лезут по колено в сельдь, размахивая громадными сачками. Набежавший вал с трудом колышет уловленную массу сельдей.

— Подходи, подходи!

— Дорогу! — подходят с тачками.

Дружно черпая сачками с четырьмя ручками выливщики накладывают живого, серебристого пузанка в тачки.

Несколько взмахов—и тачка готова. Упершись босыми ногами в доску, на которой стоит полная тачка, горец кричит и толкает груз.

За ним немедля подкатывает другой, третий, и скоро своеобразная «карусель» из полных к лабазу и пустых к берегу тачек начинает вертеться по песчаному берегу.

— Гей, гей!—покрикивают тачечники.

Три пары рабочих, стоящих в неводе среди сельди, ровно, в такт, как машина, выхватывают полные сачки. Льется вода, летят брызги, повсюду блестит крупная чешуя.

Сажусь в тень под навес конторского крыльца и закуриваю. Проходит час, два, три, а рыбы не убавляется. Медленнее становятся взмахи сачков, меньше криков рабочих, и все чаще слышится голос заведующего:

— А-ну, навались, навались!

Снова иду на берег.

— Что же еще не ловите? — спрашиваю я его.

— А куда же? С этой управка не берет! — отвечает он.

В самом деле: если закинуть еще раз и снова подтащить к берегу двадцать чанов рыбы, куда же ее девать? Ведь рабочие не поспевают взять уже пойманную рыбу и доставить ее в чаны.

— Хорошо—еще тихо,—продолжает заведующий,—а как бурун — пропадет и эта. Засыпет песком или разобьет мотню и рыбу!

— Эй, навались, навались!—кричит он, отбегая в сторону.

Вся обвалявшись в песке, как в сухарях, лежит селедка. Она еще жива, и когда беру ее, то под пальцами чувствуется движение мускулов. Жаберные крышки залились кровью, и рот медленно открывается. Кидаю ее в воду. На секунду



За ним немедля подкатывает другой.

погрузившись, она всплывает, изогнувшись кверху боком. Уже ослабела.

Море бледно-голубое, а на небо больно смотреть из-за яркого света. Солнце где-то близко, и чувствуешь, как льются на тебя горячие воздушные волны.

А рабочие все так же кидают в тачки пузанка, и так же вертится «карусель».

Когда, уже вечером, я вышел на крыльцо посмотреть, кончилась ли работа, то при красном свете факелов пылаю-

щей пакли увидел черные тени двигающихся от берега к лабазу и обратно.

Вот что значит поймать в одну тоню двадцать вагонов пузанка!

— Счастлив, кто поймал много сельди, да несчастлив он, если не успеет взять ее на берег и посолить,—припоминаю я слова старого Михал Михалыча.

— Нас не лов губит, а уборка! Поймать не хитро, была бы погода, а вот вылить из невода сельдь,—вот где закорючка! Тут самая застопорка и есть. Не успеваем вручную селедку подавать! Самотеком бы ее пустить, было бы дело!



И так же вертится карусель...

* * *

Во всем мире нет еще такого своеобразного моря-озера, как Каспий, отличающегося своими физическими свойствами и животным населением..

Здесь, как в каком-нибудь колоссальном аквариуме, живут и размножаются представители фаун давно минувшего времени.

Разошлись тучи, полились сверху горячие лучи солнца, согрели землю и море, и движутся из холодных глубин на теплые прибрежные воды громадные стаи рыб. Тысячеметровые невода принимают их в свои об'ятья, а новые массы подходят к берегам.

Нет «конца и краю» миллионным «косякам» сельдей!

Идут и идут.

Лишь ветер, взбудоражив море, прекращает это шествие сельди. Отойдет она, пока утихнет буря, на глубину, переждет там и снова неудержимо бросается к берегу.

— Послушайте,—обращаюсь я к доктору,—вы все знаете,—он смеется так, что с его носа падает пенснэ,—скажите мне, — почему сельдь идет сюда к кавказскому берегу. Почему она не подходит в таких количествах к другим берегам? Например, к персидскому, к Мангишлаку или Красноводску на ту сторону Каспия?

Доктор перестает смеяться и на секунду задумывается.

— Мне не раз самому приходил в голову этот вопрос, но едва ли на него кто-нибудь может дать ответ совершенно точно. Я на этом берегу уже двадцать лет, и никто мне ни разу не ответил на него. Лишь однажды я слышал об этом рассказ, легенду,—как хотите назовите,—и не скажу, чтобы я вполне ей доверял, но просто она мне понравилась.

— И за неимением другого об'яснения вы остановились на ней?—спрашиваю я.

— Может быть, да вот судите сами.

Доктор снял шляпу и, обмахиваясь ею, как веером, начал:

— Лечил я в 1912 году одного человечка от малярии. А нужно вам сказать, что он был из состава экспедиции, которая обследовала здешний селедочный промысел.

Лечу я его, делаю вспрыскивания, изредка навещаю, и вот однажды, когда он стал поправляться, в разговоре спросил я его о подходе сельди.

Он и говорит: я думаю, что причина подхода морского пузанка к берегам Кавказа та, что в давно прошедшие вре-

мена, несколько тысячелетий назад, здесь было место прохода ее в океан.

— Как в океан?—не выдержал я.

— Погодите,—остановил меня доктор.—Так-с, дело, говорит, в том, что Каспий соединялся тогда через Черное море со Средиземным, а через него — с открытым океаном.

Это был один сплошной водоем. И вот сельдь, поднимаясь с глубин южного Каспия, и шла туда, где теперь устье реки Сулака, а там, — доктор достал памятную книжку, развернул карту Союза и, показывая пальцем, продожал:

— Смотрите, проходила она по направлению рек Терека, Подкумка, Большого Егорлыка и Кубани. Громадный пролив этот захватывал все пространство между Ейском и Темрюком на Азовском море, а на Каспие между Сулаком и рекой Кумой.

Вот здесь и шла сельдь в океан метать икру! А рыба она морская, пелагическая—так он ее называл,—любит соленую воду—поэтому ей в океане так же хорошо, как и ее сестрам—шотландской и норвежской сельди. Вот что я от него слышал, а верно это или нет — не знаю!

Доктор замолчал и надел шляпу.

— Жара-то какая! А сельдь, знаете ли, везде стала хорошо ловиться. Михал Михалыч говорит, что по всему берегу идет: на Яломе, Худате, Первомайской, Коягенте, словом, везде.

Мимо нас без шапки, с расстегнутым воротником, идет Михал Михалыч.

Он сосредоточен, как главнокомандующий на фронте перед наступлением, походка твердая, в левой руке карандаш, а в правой носовой платок, которым он утирает крупные капли пота.

— Михал Михалыч,—окликаю я.

— А, вы здесь?

— Сколько на сегодня поймали?

Он делает два шага ко мне и, понизив голос, говорит:

— На сегодня по всем промыслам поймано и посолено 3.410 вагонов!

Он идет к берегу, где чернеется неводник, вокруг которого, как муравьи, копошатся горцы.

— И это за две недели,—замечает доктор.—Если ветра не будет, еще поймают. Однако мне пора на Молоканку. До свиданья!

Он подает руку. Через полчаса проходит почтовый поезд, который увозит его на соседний промысел.

* * *

Что, уж убираете? — спрашиваю я, подходя к высокому старику, распоряжающемуся укладкой сельди в белые бочата.

— А то как же? Готова—и пожалуйте в бочку!

Около чана стоят двое рабочих-горцев с длинными черпаками и вытаскивают соленого пузанка.

Несколько женщин, засучив рукава, моют ее в «ваннах» и «пересеках».

Вымытая сельдь кладется в кучу, из которой ее берут другие работницы и, прикладывая к рыбе палочку с зарубками, откидывают крупную в одну сторону, мелкую в другую.

Испугалася до смерти
Нонче маменька моя,—
Я пришла и ей сказала:
Комсомолка теперь я...

льется веселая частушка.

Женщины-работницы на рыбных промыслах молча не работают. Нет того тяжелого труда, который бы не облегчала веселая, задорная песня. Звуки ее несутся по широкому Каспию и эхом отдаются во всех заброшенных и далеких углах, где приютились рыбные промыслы.

Отсортированную сельдь берут укладчицы и аккуратно кладут ее на дно бочонка. Сначала два ряда крупной сельди

кверху брюшками, а затем брюшками вниз, а спинками кверху всю остальную, пока не наполнится бочка.

Вот стоят полные сельдью бочата. Подходит рабочий, берет бочонок и ставит его под пресс или, как здесь называют, «жом».

Пресс сдавливает плотно рыбу, а на образовавшееся свободное место работница докладывает новую порцию пузанка.

Отжали.

— Готово!—кричит рабочий бондарю, который вертит по полу белый, как сахарный, полутарок-бочонок, набивая вокруг него обручи. Бондарь берет три дощечки, составляющие дно бочонка, и не успеешь оглянуться, как дно вошло. Накрепко набиты обручи, и рабочий, подмигивая работницам, подпевает:

Полутарочки ушата,
Плотовые лягушата.

Затем берет сверло и вертит дыру в дне бочонка.

— Это зачем?—подхожу я.

— А как же? Тузлук (рассол) надо наливать. Через этот шкант и льем, а потом пробкой закрываем,—показывает он на кучу палок, надрезанных длиной по четыре сантиметра—размер деревянной пробки.

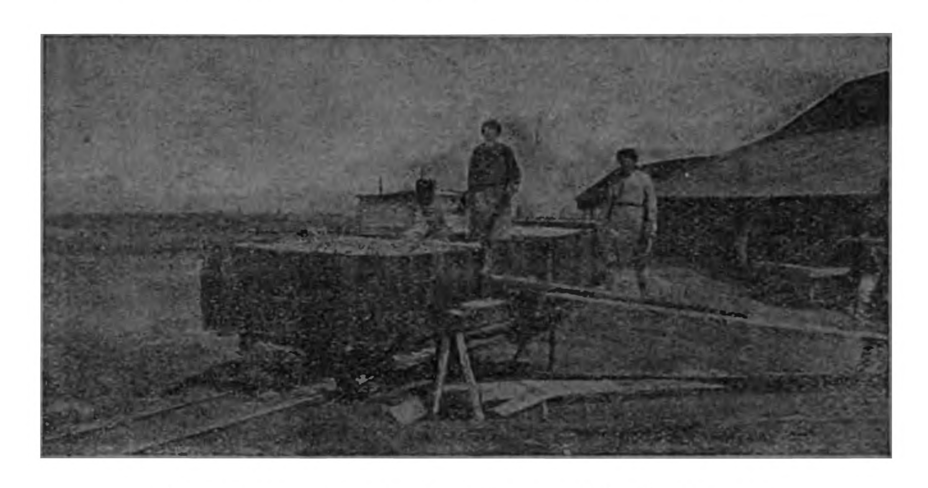
На особом настиле под навесом стоят сотни готовых укупоренных бочат, и две-три работницы с ведрами и лейками, полными рассола, крепостью в 24° по Боме, ходят и заливают пузанка.

Все готово. Остается последняя операция, которую проделывает желтоволосый парнишка-трафаретчик. В руках у него щетка и жестянка с вырезанными буквами и номерами, у ног — керосин, смешанный с сажей. Одним взмахом он накладывает на белоснежное дно боченка трафарет, смазывает его щеткой, от которой во все стороны летят черные брызги, затем другой трафарет, опять шарканье щеткой— и на боченке играет черная надпись:

«Госрыбтрест. Буйнак. № 3041 «О».

— 0—это значит «нолька», размер сельди от 20 до 24 сантиметров, 00—«двухнолька»—от 15 до 20 см. Есть еще «трехнолька», рядовая, залом — это самая крупная сельдь и «отбой» — мелочь, длиною меньше 11 сантиметров.

Почти рядом с уборочной, на заржавевших от соли рельсах стоят товарные вагоны. Дверцы распахнуты настежь, к ним положены доски, по которым рабочие катят бочата, наполненные высоленной сельдью. Неподалеку, поло-



Грузят сельдь в вагонетки узкоколейной жел. дор.

жив смятый картуз на бочонок, стоит весовщик, который отмечает число бочат.

— Сколько в вагон входит?—спрашиваю я, прячась от солнца в тень крыши.

— 225 полутарков, а «румынок» 90 штук!

«Румынками» называют бочки весом 1,5 центнера.

Прохожу дальше. Там грузят живую и свежую сельдь прямо из невода в вагонетки узкоколейной железной дороги.

— Это куда?—изумленно спрашиваю я бородача в фартуке и рукавицах, аккуратно разравнивающего в вагонетке пузанка.

— На холодильник гоним, а там куда ее девают, точно не знаю. То ли на консервный, то ли куда.

Он закрыл рогожами последнюю вагонетку, обвязал веревкой и, засунув два пальца в рот, резко свистнул. Из-за сарая отозвался паровик, а через минуту игрушечный поезд уже уходит на север с сырьем для консервного завода.

Хочется пить. Прохожу снова мимо работниц и пирамид из белых, пока пустых бочат, а за мной несется:

Никому так не досадно,
Как мне, бедной сироте,
С'ела окуня живова,—
Окунь ходит в животе.

* * *

Третьи сутки нет ветра, и идет к берегу сельдь. Каждый замет захватывает десять, пятнадцать вагонов пузанка.

Лов рыбы идет по всему берегу, начиная от Сулака до Самура. Невода, окруженные обметками, стоят полные рыбой.

Сельдь, скученная в неводах, сверху припекаемая жаркими солнечными лучами, быстро «снет» и тонет—«ложится» на дно.

Что есть силы работают горцы, выгружая пузанка из мотни.

Давно на подмогу постоянным тачечникам посланы с неводников гребцы, которым нечего делать, пока не справятся с уже пойманной сельдью.

Падают от усталости и жары выливщики. Каждый прошедший час увеличивает шансы на перемену погоды.

Успеть убрать сельдь до шторма — вот одна мысль у всех. Эта задача сейчас самая главная. Ради ее решения все остальное отложено в сторону.

Если пролетать на аэроплане в этот момент вдоль береговой черты, то во всех местах, где есть тони и промыслы, можно было бы увидать полные сельдью невода, мирно

стоящие у берега, и снующих с тачками, как муравьи, к морю и обратно рабочих.

Все меньше и меньше ссыпают в чан живой сельди, все чаще попадается «снулая», и все мрачнее становится лицо главного солельщика. Наконец, когда, по его мнению, жара сделала свое нехорошее дело, он начинаст ворчать:

— Ишь, снулая!

У сельди глаза помутнели, на жаберных крышках показались кровавые пятна, и блеск чешуи потускнел.

— Куда мне краснощечку девать! Весь чан испортишь. с загаром выйдет товар,—вышвыривая из тачки снулую сельдь, кричит солельщик.



...Нет ветра, и идет к берегу сельдь...

Загар—плохая штука: это значит, что соль неравномерно прошла в тело рыбы и в некоторых местах, — особенно часто это бывает у позвоночной кости, — мясо сельди потемнело.

Это уже нехорошо и не должно быть.

Солельщик бросает лопату и идет на берег об'ясняться к старшему.

— Ты что, не видишь чего наливают?—наступает солельщик

— Чего? Пузанка!—как бы не понимая, отвечает старший.

— Пузанка! Сам ты пузанок, ты еще с берега дохлую селедку мне навалишь!—ругается солельщик.

— Ну, ну, пузырься, и всего-то осталось сельди тачки две. Дохлую! Теперь мне в море ее выбрасывать прикажешь? Тоже капрызы!

— Сам соли такую, а я не буду!—солельщик поворачивается и на ходу задерживает тачку с сельдью.

— Вали, Магомет, обратно,—показывает он на тачку,— всякий обор да остатки рады в чан свалить. Буде, давай живую.—Он ушел.

Горец недоуменно поглядывает то вслед солельщику, то на старшего. Медленно снимает шапку, сдвигает на затылок темную от пота тюбетейку и утирает катящийся пот.

—Вези, вези, — говорит старший, — последнюю; скажи ему, сейчас зачищаем мотню, ладно! Вот, чорт, навалило сельди!

Как эхо передаются слова: «завал, завалились сельдью», по всему промыслу, и дальше, по всему берегу—с севера на юг и с юга на север.

И как раньше все были недовольны, что нет хода сельди, так сейчас все клянут этого «чортова пузанка», который в неисчислимых количествах подошел к берегу и миллионами лезет в невода.

А тут еще солнце, которое, не соображаясь ни с чем, жарит так, что того и гляди протушишь всю сельдь.

Над всем властвует мысль, что надо быстро, как можно скорее использовать время подхода сельди.

— Не прозевать, не упустить!

Мгновение—и, как в театре декорация может переменится, — подует шторм, разовьет течение, бурун отгонит сельдь, и жди ее до следующего года.

— Ведь и вся штука-то в том, что идет пузанок раз

в год и всего пятнадцать-двадцать дней,—жалуется мне старший рабочий.

— Кабы его круглый год ловили или шел бы он по-человечески, в норму, А то навалит почем зря или уже махалки не увидишь.

В ответ на его слова раздаются четкие звуки керосинового моторчика стоящего на передвижном элеваторе. За все время существования здесь рыбного промысла впервые делаются попытки заменить машиной труд человека.

На ленте элеватора белеют лопатки, между которыми ляжет нежная сельдь, чтобы перенестись в раскрытые чаны

Когда я подхожу к машине, чтобы поближе рассмотреть ее детали, сзади раздается знакомый голос Ракаева.

— Дай срок, машиной выливать будем, поставим элеватор к неводу, и тачечников не надо!

Двое слесарей, его подручные, приклепывают широкий лист железа к машине.

— Что, уже пробовали?—спрашиваю я.

— Пробовали, ну да ведь сразу ничего не бывает,—отвечает Ракаев,—имеются ненормальности.

Раздается звон колокола на обед. Группа рабочих подходит к машине и, с минуту постояв, уходит в помещение. Из конторы расходятся служащие. Возвращаясь с соседней тони, идет старший неводчик.

— Почтенкие вемляку! Ну, как ваша механация?

Рабочие молчат, и только слышно, как скрипят гайки под нажимом ключа.

Ракаев тоже как будто не слышит вопроса.

— Что ж, ребята, пойдем обедать?—спрашивает Ракаев.

Молчание. Потом тот, который постарше, не отрываясь от работы, говорит:

— Докончим, Семен Иваныч, а там и закусим.

— Докончить, так докончим,—добродушно соглашается Ракаев.

Неводчик сплевывает и, уходя, говорит как бы про себя:

— Нешто машиной управишься? Пригнать бы сюда комплект саратовских мужиков, они за сутки пятьдесят вагонов из невода выкатят.

Проходит еще с полчаса, а слесаря и Ракаев работают не отрываясь.

К конторе под'ехала пара вороных, запряженная в линейку. Приехал Михал Михалыч.

Узнаю его черную шапку и синюю рубаху. Через минуту он окружен рабочими и служащими так, что его не видно за спинами сомкнувшихся людей.

— Михал Михалыч приехал,—говорю я Ракаеву.

Рабочие молчат. Ракаев, не поднимая головы и не отвечая, наливает масло в мотор, то отвинчивая, то завинчивая блестящие краны и винты.

Михал Михалыч отделяется от толпы и идет к нам.

— Что, пробовали?—говорит он, подходя к машине.

— Пробовали,—отвечает Ракаев—вот щиток приделали, теперь должен сам брать сельдь.

— А инженер был?

— Был, да ему не разорваться—и туда и сюда надо поспеть.

Михал Михалыч долго молча смотрит на машину. Наконец, как будто придя к выводу, медленно говорит:

— Не то рыбу ловить, не то пробовать,—и уходит по направлению к неводу.

Молчание.

— Не шуточное это дело заставить машину заместо людей селедку из невода таскать,—рассуждает Ракаев.—Ну, а все-таки, как ты не вертись, а машина свое докажет.

— Пойдем, ребята, обедать!

Элеватор играет на солнце своими новыми частями, как боевое орудие, которое готово, чтобы его выдвинули на бой за овладение новыми позициями.

* * *

Чем дальше на север, туда, где коварный Терек течет своими мутными водами в желтых камышах, тем безлюднее. Реже попадаются промыслы, реже тони — и, наконец, пустынный берег спокойно нежится, согреваемый солнцем и убаюкиваемый песней старого моря.

Кое-где блеснет новой крышей деревянный, сарай — это рыбаки ловят кильку.

Издали не видно их «скипастей»—громадного сетяного мешка, расставленного на веревках и якорях, в который сама заходит доверчивая рыбка.

Теряются в морской зыби колья сети, на которых она растянута. и, лишь подойдя вплотную к месту установки можно заметить, что стоит какая-то ловушка.

— Есть ли рыба?—спрашиваю я, здороваясь с кудрявым, черноголовым рыбаком в сапогах и рубахе на выпуск.

— Тянется понемножку.—Ответ обычный для каспийского рыболова, в то время когда рыба ловится хорошо. Удивительно, он никогда не скажет, что лов отличный. Почему? Едва ли на этот вопрос можно дать точный ответ. Так отвечали его отец, дед,—так отвечает и он

А если лов средний, то он непременно подчеркнет, что дело из рук вон плохо—«никакого лову нет».

— Часто осматриваете ловушку?

— Часа через три. Смотря какая погода. Сейчас вот поедем.

Прошу захватить меня. Взяв с собой еще двух рыбаков, мы на остроносой лодке гребем к дальнему концу ловушки.

— Тише!—командует курчавый.

Складываются весла, и гребец с правой стороны хватается за кол, где прикреплена сеть. За ним другой. Медленно перебираем громадный сетяной мешок, который растянут на четырех кольях. Беремся за один конец и постепенно сгоняем в противоположный угол мешка быстро мелькающих рыбок.

Выше и выше поднимается со дна сетка, и меньше делается площадь воды, окруженная ею. Кильки мечутся и стараются удрать из мешка, но, ткнувшись в частую ячею — еле мизинец просунеш, моментально сбиваются в кучу.

— Поддержи, Кузьма. — командует старший. — Выливай!—Кузьма подхватывает сеть, задерживает лодку, и в нее льется живая серебристая лава.

Снова медленно опускается сеть на прежнее место, и мы выезжаем из скипасти.

Улов—два-три центнера. Если так идет килька круглые сутки, то лов не плохой.

Несколько взмахов веслами—и лодка у берега. К нам подходят женщины с большими корзинами, в которые переваливают живую кильку.

Быстро уносят ее в сарай, где стоят громадные бочки, и через несколько минут засыпанная солью килька закрывается рогожами.

Вот и все! А через три часа история повторяется снова

— Куда же продаете кильку?

— На консервный завод сдаем, там ее в жестянку кладут. Всю ее с подряда сдаем, по условию.

— И прибыльно?

— Да оно как придется, нынче расходы, надо быть, оправдаем,—уклончиво отвечает тот же курчавый. Остальные молчат.

— Вы не здешние?—спрашиваю я, вглядываясь в их загорелые лица.

— Не, мы азовцы. Вот отловимся и опять домой на Кубань.

— И много вас тут, по берегу?

— Да, есть вот пониже нас две стоянки, а повыше к Махач-Кала тоже сколько-то имеется. Занимаемся, кормиться надо!—скромно добавляет старший.

— А красноловы-рыбаки есть здесь?

— Не, не слыхать,—что ближе к Тереку, а здесь негде им. Залива нет, и рыбу некуда сдавать.

— Килька давно пошла?

— Дней десять.

— А раньше не было?

— Не. Холодно было. Мы так замечаем, как на дереве листок с мышиное ухо станет, так и рыба к берегу подойдет, а до того времени она в море ходит.

— Поеду дальше.

— Будьте здоровы!

Мы прощаемся. Иду к полотну железной дороги. Бугры песка начинают покрываться травой.

Серенькие маленькие пичуги выпархивают из редких кустов.

За буграми зеленеет степь.

Над ней высоко в небе кружит какая-то птица.

* *
*

Зеленые волны, лаская борт, лезут в лодку. Я лежу на пахнущей смолой палубе под тенью белого паруса и слушаю разговор рыбаков-красноловов.

— Если в Петровском не достанем крючка, куда кидаться? — говорит Василий, молодой парень, сидящий за жарником, на котором варится в котелке уха.

Его дядя, которого все жители острова Чечня зовут «дедушка Семен», крутит седую бороду и незаметно пошевеливает рулем. За кормой лодки, догоняя нас, вьется белая полоса вспененной волны.

— Куда? Окромя Баки некуда,—медленно и спокойно решает дед Семен.—Заодно придется и парусины добиться в кооперации через Кузьму.

Нехватит на парусину денег. Федор говорил, цену высокую ставят.

Дед молчит.

Не чувствуется, как движется воздух. Водяная поверхность на десятки километров рябит мелкими волнами и сверкает синим отливом под ярким солнцем.

Там, на горизонте, море темнее, и резко виден край упавшей на Каспий светло-голубой завесы весеннего неба.

Мы «бежим» туда, где на стометровой глубине выставлены крючки с насаженными кусками белой клеенки для приманки осетра.

Время от времени парус наклоняется, натягивается под давлением ветра просмоленая бечева, и сильнее начинает клубиться и журчать за кормой курчавая волна.

— Сколько же он купил?—снова возобновляет разговор дед Семен.

— Пятнадцать тысяч крючков больше не достал.

— Стало быть, на одну лодку. Это немного. Будет ли толк ехать, почитай все распродали, что было.

Медленно соображает Семен.

— Придется тресту жалиться, чтобы доставал крючок. Его мы подрядные ловцы, всю рыбу ему сдаем, пусть он за нас хлопочет. Его это дело.

Василий пробует уху, снимает котелок с огня и, подложив дощечку, ставит его на трюм.

— Вот и обед готов, милости просим,—обращается он ко мне.

— Спасибо, жарко, есть что-то не хочется.

— Садись, садись, земляк, начнешь есть — захочется. Это всякое дело так, трудно начать, а как втянулся, оно и идет. Садись, подвигайся,—приглашает дед.

Подсаживаюсь ближе и устраиваюсь рядом с Василием. Он нарезает ломтиками черный хлеб, достает солонку и деревянные ложки. Дед, оглянувшись на море, закрепляет веревку от паруса около себя и, не выпуская руля, правой рукой берет ложку.

Обжигая губы, едим уху.

— Где мы сейчас бежим,—начинает дед, обращаясь ко мне,—это были воды Шамхала Тарковского, держали их арендатели, и вольному ловцу сюда носу показать нельзя было. Либо иди в подряд к промышленнику, либо не суйся. А самые уловистые места здесь; севрюга ли, осетр ли — все

сюда идут жировать, кормиться. Конечно, по вольной-то цене соблазн был продать, вот и думаешь. Возьмешь казенный билет...

— Это на право рыболовства?

— Ну да, и тайком сюда. А здесь свой же брат-ловец, только подрядный, увидит и сейчас—надзору. Пока снасть кладешь, всю башку себе отвертишь, как сорока на колу, смотришь, не показался ли где дымок. Поставили да бежать домой на Тюлений, а в ночь опять надо бежать на место выбирать снасть и сдавать рыбу. Вор вором! А сколько нашего брата по миру пошло!

Незаметно под рассказ деда подчистили до дна котелок. Запили из бочки, стоящей тут же на трюме. Я лег на канат, свернутый кругом.

Однообразное шуршанье воды, легкое покачивание справа налево, синяя бесконечная высота неба и та неиз'яснимая свежесть воздуха моря, которая опьяняет, обладевают всем твоим существом. Сна нет, но нет и бодрости. Мысли, как облака в яркое весеннее утро, бегут одна за другой. Наступает момент, когда природа становится доступней и как бы раскрывается перед умом созерцающего и узнающего ее человека.

— Маяк!—кричит Василий.

Я поднимаю голову и, выглядывая из-под закроя паруса, вижу на волнах черную, качающуюся палку с пучком мочалы, привязанным сверху.

Мы на «порядке» снасти. Через несколько минут парус положен, мачта вынута из «гнезда» и Василий с дедом, лежа на животах, через борт, начинают «водиться» по снасти. Это значит — перебирать руками по толстой, как вожжи, веревке и, поднимая ее, осматривать привязанные к ней на бечевках крючки, снимать с них попавшихся осетров и севрюг, скидывать сор и траву, поправлять сбитые течением белые куски клеенки и насаживать новые.

— Есть, — замечает Василий.

Я вижу, как надулись жилы на его руках и покраснела шея. Что-то рвет бечеву из его рук.

— Попался, брат, шалишь!—приговаривает Василий, подтягивая к борту белую, тупую морду здоровенного осетра.

Только что показалась из воды тупоносая башка, как дед Семен ловко оглушил осетра деревянной палкой.

Рыба плеснулась и затихла. Уже спокойно Василий перекинул ее на лодку, вынул из пасти крючок, ударил еще раз по лбу и, захватив под жабры, ловко кинул в средний трюм.

— Здоровый дядя!

— Пуда на полтора.

— Давай, давай,—поторапливал дед.

Перебрали порядок и другой, всего сняли с крючков одну севрюгу и десять осетров.

Поправили маяки и, оторвавшись от снасти, стали поднимать мачту и парус.

— С рыбой, стало быть,—немного ухмыляясь, говорил дед, припав к борту и полоща руки.—Не ждал я улова.

— Почему?

— Перемены ветра не было. Если долго одна погода стоит, то рыба в море не отходит. А вот как после норда да подует моряна, значит, сменится течение—и рыба пойдет. Тронется рыба, гуляет она туда-сюда и скорее набегает на снасть.

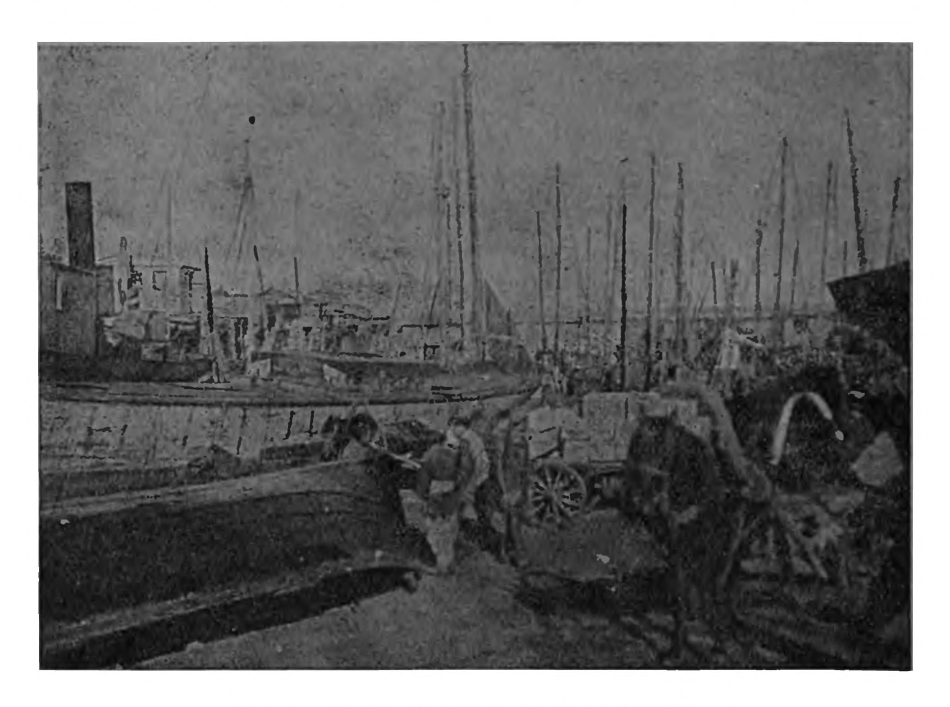
Теперь Василий сидит у руля, а дед Семен кипятит на жарнике чайник.

— Куда же сейчас? На Чечень к себе или в Махач-Калу?

— Надо рыбу первой сдать, ежели приемку встретим,— это лодку мы называем, которая от треста в море ходит у ловцов рыбу собирать,—то пойдем домой. А нет, так в Петровский доведется бежать.

Приемку не встретили и прибежали в Махач-Кала. Там среди грузящихся пароходов, приткнувшись к берегу и заполняя бухту, стояли, торча мачтами, рыбацкие лодки.

Как раньше, так и теперь Махач-Кала — хорошее убежище для рыбацких судов и место, где можно немедленно «сдать», то-есть продать свой улов. Сотни лодок приходят



Стояли, торча мачтами, рыбацкие суда...

в порт, бросают причал у каменного мола и выгружают белуг, севрюг и осетров на берег.

Тут же весы, приемщик с записной книжкой и подвода, которая отвозит купленную у рыбаков рыбу на холодильник. Здесь крупную рыбу подвешивают на крючках в морозилках при температуре минус 12—20 градусов Цельсия. Морозят сутки-двое, а затем перекидывают в другие, — где

холоду поменьше, градусов 8, — камеры, и здесь ее хранят до момента отправки на консервный завод, стоящий бок о бок с холодильником, или в Москву.

— Что я замечаю —говорю я приемщику,—очень мало икряной рыбы. Вот перебросали до сотни осетров, а с икрой только один попался. Почему?

— На таких местах ловят. Та рыба, которая идет в реку метать икру, ходовая, эта завсегда с икрой. А жирующая в море —она без икры. У ней икры нет, потому что она уже бросила ее в пресной воде и теперь пришла на место кормиться. Вот откормится, нагуляет жиру, нарастет у нее икра, и тогда она снова пойдет в реки.

— Стало быть, она при подходе в реки не ест?

— Чего надумал,—вмешивается в разговор рыбак, сдающий рыбу.—Потому и ловим ее в море на крючок с наживкой,—«калада» по-нашему, или «живодная», а перед устьями — на самоловный крючок. Хх-ма! Там и вода мутная, как же она наживку-то увидит, умная твоя голова, — урезонивает меня рыбак,—и об еде ей некогда думать. Вот на самоловный крючок, что зацепит ее за бок, она и попадает там. Ты замечай,—он выхватывает с телеги осетра,— вот тело, как у попа гладкое, нет тебе ни цапки, ни ранки.

— Понимаю,—начинаю, я защищаться —потому что рыба попалась на крючок, который она заглотала.

— То-то же, а с самоловки рыба носит на себе рану, где крючок, значит, ее взял.

— Сколько Митрий? Мотри, не балуй как на твоих килах-то выходит?

— 162 кило,—придерживая коромысло, отвечает приемщик.

— Это сколько же на пуды-то?

Медленно пересчитывает в уме рыбак.

— Иди в контору, там скажут! Следующий!

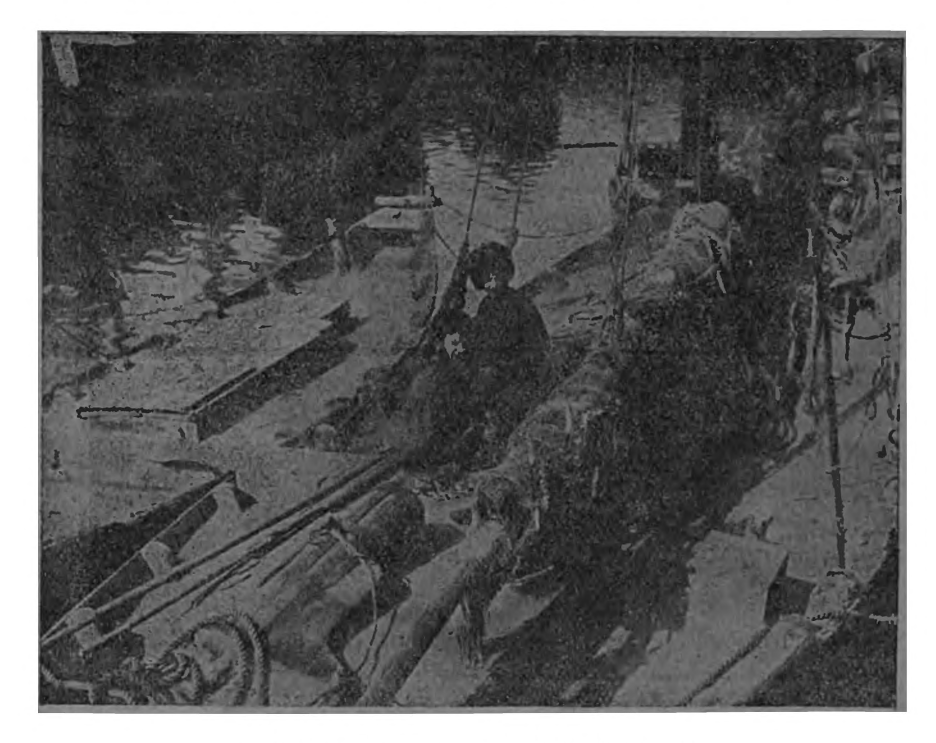
— Ладно. Да квиток давай!

Взяв квитанцию, рыбак идет в контору треста.

Закончились расчеты, закуплена кое-какая провизия, хлеб, табак кое-кто даже успел сбегать в город, и надо снова итти на лов.

Рыба ловится хорошо,—«часа терять нельзя».

Ветер затих, и бухта блестит, как застывшее стекло.



—Эй. Гаврилыч, выводи! Буде спать!

— Эй. Гаврилыч! Гаврилыч! Выводи! Буде спать!—зашумели рыбаки, обращаясь с призывом в сторону мирно стоящего буксирного парохода.

Пароход безучастно покачивался у мола. На палубе и в рубке ни души. Все как вымерло. Только серый котенок, изгибая спину и подняв хвост, играет с ремнем от бинокля.

— Гаврилыч! Уснул старый, видно, а команда на берегу должно,—рассуждали рыбаки, удивляясь тишине на пароходе.

— Эй! В море пора! — крикнул кто-то.

Из трюма высунулась голова.

— Чего разгалделись, чего? — вылез из каюты Гаврилыч.

Спутанные волосы, испитое лицо с прищуренными глазами, растегнутый ворот и босые ноги указывали, что Гаврилыч «отдыхали».

Да и как не отдохнуть на стоянке в порту, когда в море ни днем, ни, особенно, ночью нет покоя и сна. То приемки,— лодки выведи на «курс», то рыбак маячит—помощь просит, то баржу надо на промысел отвезти. Да все срочно требуется, немедленно. Хорошо, когда тихо, а тихо бывает раз в год, да и то иной раз приходится, вот как сейчас, во время стоянки в бухте.

Каспий, беспокойный сам, и другим мешает работать Особенно надоедает он Гаврилычу, который ругает море хуже всего на свете, но и любит его безгранично.

Гаврилыч идет к рубке, по пути отнимает у котенка бинокль и дергает несколько раз ручку свистка.

— Ту-ту-ту-ту-ту!

Пауза, и снова:

— Ту-ту-ту-ту-ту!

Он созывает команду на пароход. Первым вылезает откуда-то из люка, весь в мазуте, помощник машиниста.

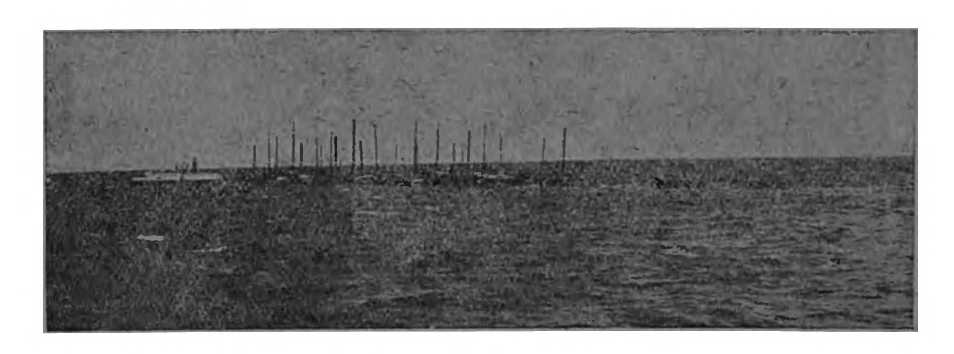
— Готовь машину!

— Есть! — и механик, как Мефистофель, снова проваливается в преисподнюю парохода.

Через несколько минут слышится гул, вздохи машины, и из трубы парохода начинает клубиться темно-коричневый, потом все чернее и чернее и, наконец, совершенно черный дым. Он столбом поднимается к небу и исчезает там, в лазоревой выси.

Откуда-то появляются матросы с сумками и провизией в руках. Гаврилыч обходит пароход.

— Чего галдите!—снова обращается он к рыбакам, которые уже давно бросили кричать и, сбившись в кучу, кто



...Ведя на буксире двадцать рыбацких лодок...

лежа, кто сидя, ожидают дальнейших распоряжений капитана.

— Берите буксир! Зачаливай! Васька! Отдай буксир,— командует он, уходя в каюту одеваться.

Через полчаса все готово. Все на своих местах. Гаврилыч в ватном пиджаке, шапке и сапогах стоит на капитанском мостике и смотрит, как выравниваются на буксире рыбацкие лодки.

Что-то заметил. Берет рупор и, повернувшись, кричит

— Кузьма, поправь канат!

На лодке подбегают к носу, что-то делают, после чего наступает спокойствие.

— Средний!—гудит в металлическую трубку в машину Гаврилыч. Из трубы дым идет более густой. Колеса начинают все чаще и чаще ударять по воде.

Как утка с плывущими за ней утятами, пароход выплывает из бухты, ведя на буксире двадцать рыбацких лодок.

В последний раз машу платком в ответ деду Семену и иду в город, чтобы узнать, каким путем мне удобнее проехать на «северные» промысла,—туда, где тянется полуостров Уч, где Аграханский залив и казачьи Тушиловка и Брянск, туда, где рыбацкие гнезда прячутся в приморских камышах, где море теряет свои яркие краски, становится

мельче, где тише играет бурун, где населеннее и веселее берега. В тот край, куда долетает воздух Северного Каспия.

Прихожу к станции железной дороги, мимо которой день и ночь идут поезда на север, в центр европейской части Союза. и на юг—в далекое Закавказье.



Бухта Махач-Кала.

Немного подальше от станции, там, где белеется здание холодильника, а за ним консервный завод, люди суетятся, грузят и отправляют рыбу, стекло, фрукты.

В самый город ведет широкая и довольно крутая лестница.

Если пересечь улицу, которая проходит выше конька станции, и подняться туда, где на церкви повешены громадные путейские знаки и фонари, то, обернувшись на море, вы видите бухту Махач-Кала. Вот южный мол, принимаю-

щий на себя удары Каспия, направо, на юг — извилистый берег, по которому разбросаны группы строений, а налево, на север—пустынный, желто-зеленый берег, тонущий в зеленых водах моря.

Махач-Кала растет и строится. Правда, сейчас нет возможности переночевать в городе самым обыкновенным образом, то-есть в гостинице. Никогда нет свободных комнат! Но местные аборигены убедительно говорят,—и нельзя с этим не соглашаться,—что это не беда.

Развивается жизнь, промышленность, строительство — вот что главное, а переночевать, — экая важность, — можно у знакомого (если он есть) на диване.

Перед вами нет следов отважной борьбы Шамиля с Российской империей или их почти не видно, а тем не менее, когда вы ходите по этому городу, то чувствуете, что он был построен как опорный военный пункт, как порт-крепость.

Сейчас это главный город Дагестана.

Стоит он, как верный страж, у моря, а с запада его окружают с синеющими верхушками горы.

Горы идут непрерывной цепью, справа и слева, и сколько хватит глаз, видишь гребни высоких гор. Сколько звезд на своде неба, столько гор в Дагестане!

*

Остров Чечень, как пограничный столб, к северу от него море, мелкое, не больше восьми-девяти метров, а к югу, чем дальше, тем глубже, и до дна не десятки, а сотни метров.

Берега к северу и югу от острова тоже разные. Если к югу, не считая устьев рек и речек, нет совершенно заливов вплоть до Апшеронского полуострова, то к северу от Чечни море искромсало берег на куски.

Не сосчитать заливов, проранов, култуков, которые подступают к морю, начиная от вечно изменчивой дельты Терека и кончая Кумскими разливами.

Аграханский, Брянский и Кумский заливы тянутся к Каспию, а песчаные косы преграждают им путь и хотят сделать из заливов маленькие «морца» — озера.

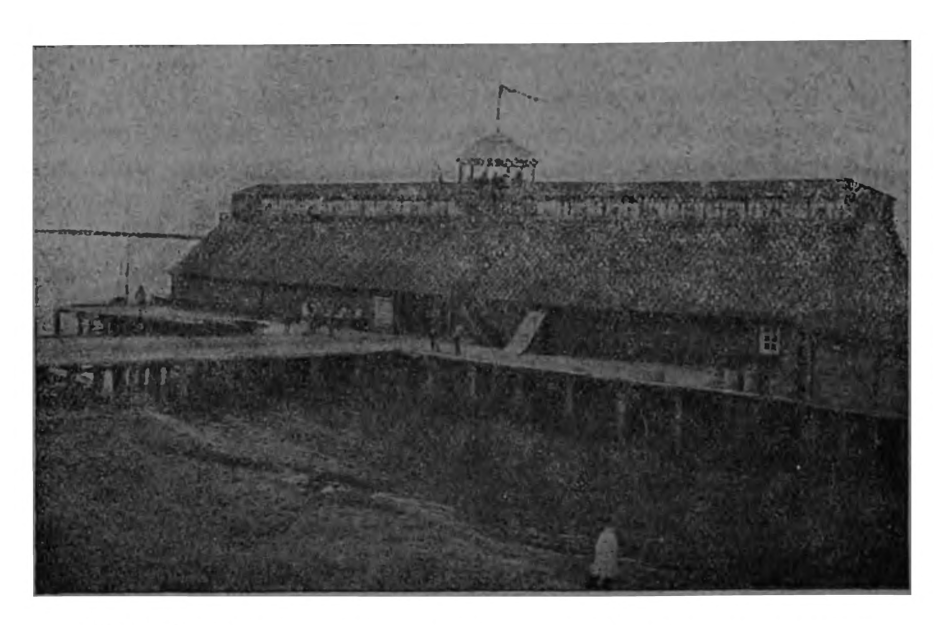
На западе, в калмыцких степях, там, где раньше кибитки стояли на берегу Каспия, теперь солончак и мелкие умирающие озера. Даже в самый сильный ветер с моря вода Каспия



Южный мол, принимающий на себя удары Каспия.

не доходит до этих соленых озер. Сейчас Аграханский залив еще борется с полуостровом Уч, который хочет раз'единить его с Каспием.

Залив тянется на север, просит у реки Кордонки воды, просит ее у Терека, а Уч закинулся далеко-далеко в море и засыпают косами пролив. Уч почти достигает острова Чечень. Навстречу, на соединение с песками Уча, идут береговые отмели от Лопуховки и Старого Терека. В некоторых местах пески так стеснили залив, что ширина его с двенадцати сократилась до двух километров.



Спокойно возвышаются над морскими водами громадные здания.

Нет сил у Терека наводнить залив, пробиться к морю.

Во время берегового ветра набежит пресная вода из реки, заполнит впадины и котловины, а потом снова отступит.

А иногда Каспий начнет нагонять свои соленые воды в залив, вдруг сделает его многоводным, глубоким, распугает рыбу, греющуюся в теплой воде залива. Но затих ветер—и ушли соленые воды.

Снова мирно дремлет залив, и лениво бродят по его дну золотые сазаны, карпы, усатые сомы и пугливая вобла.

К югу от Чечни, по всему берегу вплоть до Апшерона, всем завладела и всех вытеснила сельдь, а к северу, там, где подсластили морскую воду Сулак, Терек и Кума, заполонили вобла, сомы, судаки, сазаны.

Южнее все рыболовные постройки на берегу; в море рискуют высунуться лишь два мола бухты Махач-Кала, а здесь спокойно возвышаются над морскими водами гро-

мадные здания с двухскатными крышами, стеклянным рядом окон и «вышко» посередине, где поднят красный флаг — знак того, что рыбопромысловое заведение открыто и принимает от рыбаков большую и малую рыбку.

На самом конце полуострова Уч,—того и гляди упадет в Каспий,—стоит промысел треста. Далеко в море выдвинуты разные хозяйственные постройки, плот, где режут, пластуют рыбу, готовят икру, упаковывают в бочата. Вокруг него спокойно стоят рыбачьи лодки, рядом пристань и маленькая верфь для лодок. Здесь море бессильно смыть в один момент все, что сделано человеком, хотя юго-восточные и северо-западные ветра и бросают холодные волны в течение пяти месяцев в году. Достается от ветра рыбакам, и сильно, потому что дует он не просто, а всегда норовит перейти в шторм. К тому же дует не один день, не два, а целую неделю, особено «моряна» (S0).

— Куда тут высунешься! Сиди где-нибудь в култуке или на промысле и занимайся тараканьим делом,—об'ясняет мне Яков, рыбак и постоянный житель острова Чечня.

— Каким?

— Тараканьим,—шевели усами и только!

Он снаряжает аханы — сети на красную (белую, осетра, севрюгу) рыбу с громадной ячеей. В ячее сети, в которую ловят воблу, проходит «четыре пальца», судака—«пять», леща—«шесть с половиной», осетра—голова рыбака, а белугу — проходит человек плечами.

— У нас здесь хорошо, морозов не бывает, так ледок покажется, — и нету. Опять же годом, - вот в 1928 году была зима, как есть верховая. Даже снег был, и ездить можно было бы, да саней на острове ни у кого нет.

— А лед в море бывает?

— Бывает, да мало. Своего, почитай, совсем нет, а есть оттуда, — он показал на север, — с Астрахани, пловучий. Вот тот временами бывает.

Яков летом ловит севрюгу, осетра, ездит в Аграханский залив промышлять сазана и другую рыбу, а зимой нани-

мается на «тюленку». Снаряжается двухмачтовая лодка, обитая железом, чтобы не прорезало льдом, берется провиант, соль, ружья, припасы, и тюленщики плывут бить тюленя к островам Долгий, Орлов, что недалеко от полуострова Мангишлака. Нашли зверя, удалось пострелять—хорошо; попали в крепкий лед, раздавило лодку — плохо. Спасайся скорей на льдины, пока не подойдут другие лодки и не подберут.

— А много лодок ходят на бой?

— Когда как, и тридцать, и больше снаряжает наш трест и другие из Астрахани. Раньше с Чечня и Тюленьего острова до шестидесяти лодок ходили.

— А в Аграханском много рыбы?—спрашиваю я.

— Откуда ей взяться многова-то? Вся вода из Терека, а ее разве хватит. Намедни случилось мне проехать по реке, посмотреть, и-и-и садов-то, огородов, посева разного видимо-невидимо, а все вода нужна... Вот тут и точка.

Яков жмурится на солнце и продолжает:

— Мой прадед поселился сперва на берегу в 1786 году, и были у нас речные воды, а затем казна отдала и морские около Чечня; так отцы наши и деды положили здесь рыбный промысел.

Он заканчивает снаряжение ахана и закуривает.

— Сын приедет, и пойдем в море.

— Где же у тебя сын?

— В копперации. Поехал захватить кое-что и подсчитаться. Мы все теперь в ей состоим. Или в тресте, или копперации. У нашинских тоже теперь ватага есть, посол и все такое.

— Как же дела идут?

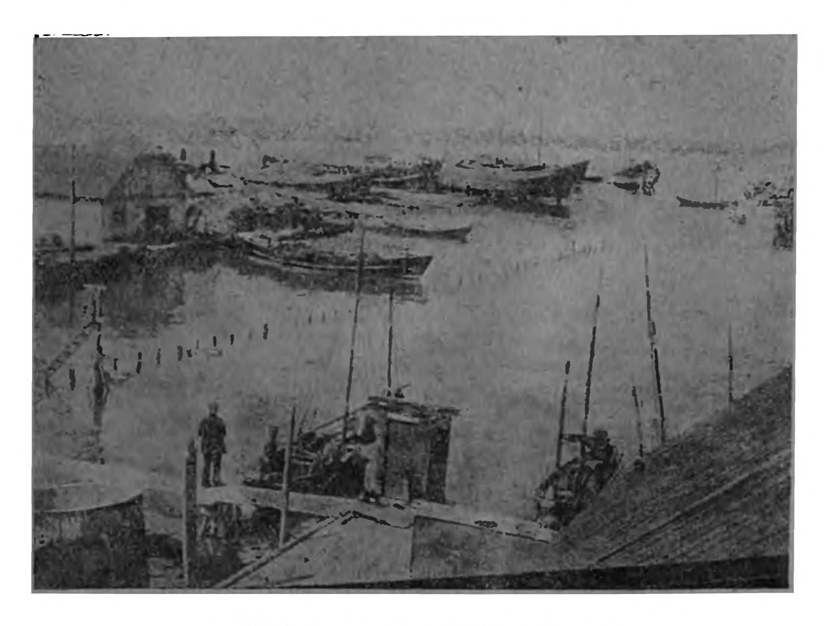
— Да ведь наше дело—ловецкое, знай лови рыбу, мы по промыслу не знаем.

— Сын, наверно, знает, — говорю я, — он у тебя грамотный?

— Грамотный, еще бы, всю ерманскую войну прошел, мужик толковый, он знает,—подтверждает Яков.

Когда Яков везет меня в Брянский култук, он пространно говорит о недостатке сетей, о плохом лове осетра и как трудно с плохим парусом в море, и в конце-концов как-то в сторону бросает такую фразу:

— Конечно, осетра утайкой на крючок ловят с клеенкой, по-нашему это калада, но ожидаем мы распрет на ее.

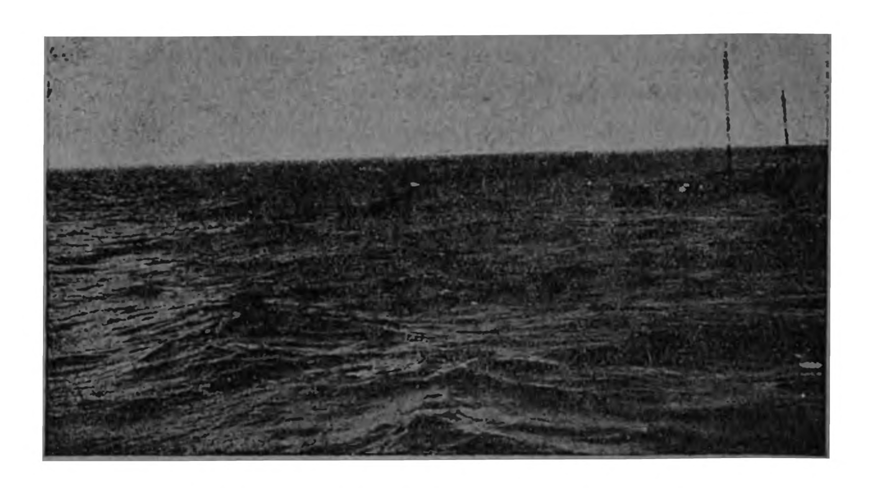


... Ватага есть, посол и все такое...

Вопрос, видимо, сильно занимает Якова, — с таким чувством он о нем говорит.

Маяк и рыбацкий поселок, расположенный около него, остались далеко. Остров как бы уходит в море, и скоро только узкая полоса темно-желтого цвета виднеется на горизонте.

Налево пенится Чеченский пролив. С внутренней стороны он довольно глубокий, местами до пяти метров, а с наружной—мелкий, и много подводных рифов закрывает вход в него с моря.



Мелькали две маленьких лодки-подчалки.

Когда подует моряна — юго-восточный ветер, то волны, набегая на мелкие рифы, дыбятся, растут вверх, толкутся, как в ступке, и горе тому, кто попадет в это волнение. Не мало погибло здесь всякого рода судов; твердо знают об этом моряки Каспия, и лихая слава окружает этот пустынный остров.

Мое внимание привлек повторяющийся плеск в трюме.

Прислушаюсь—тихо, а затем, немного погодя, кто-то снова пошевельнется.

— У тебя в трюме никого нет?

— А что?

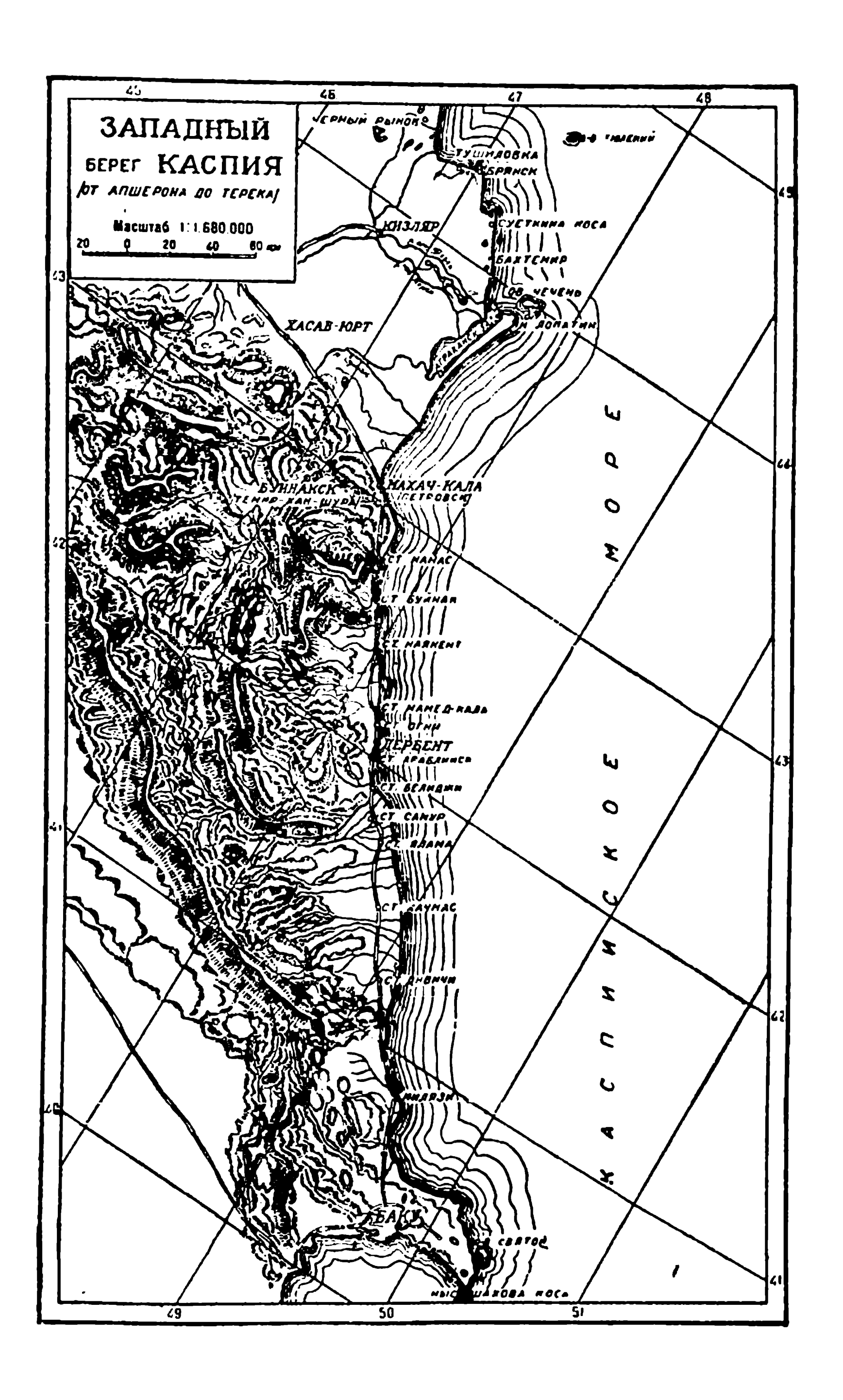
— Показалось мне, что кто-то плещется.

Яков улыбнулся:

— Это я вчера сазана забыл взять, наверно, он и ворочается.

— Неужели он со вчерашнего вечера живой?

— Сазан-то? Вот-те на! Он трое суток в избе проживет, не то что в сыром трюму, — Яков тихо засмеялся, — такая тварь. Ужо поужинаем, в котле не заворочается!


ЗАПАДНЫЙ
БЕРЕГ КАСПИЯ
(ОТ АПШЕРОНА ДО ТЕРЕКА)
Масштаб 1:1.680.000
20 0 20 40 60 км
ТУШИЛОВКА
КИЗЛЯР
ХАСАВ-ЮРТ
БУЙНАКСК
МАХАЧ-КАЛА
СТ. МАНАС
СТ. БУЙНАК
ДЕРБЕНТ
СТ. САМУР
БАКУ
СВЯТОЙ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
45
46
47
48
49
50
51

Далеко на горизонте показались рыбацкие лодки, увешанные с половины мачты, как гирляндами, аханами для просушки. Невдалеке около них, исчезая за волнами, мелькали две маленьких лодки-подчалки, с которых рыбаки осматривали выставленные сети.

Ветер становился все тише, и приближавшаяся Кумская степь дышала своим жаром.

Стайки уток носились над линией горизонта. Кричали чайки. Изредка слышался плеск игравшей рыбы.

Запоздавшая весна пришла быстро и шумно, как приходит гость, которого случайно задержали дома перед уходом.